



Геннадий Мартович Прашкевич Самые знаменитые поэты России

предоставлено автором
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=164660

Аннотация

В новую книгу серии «Самые знаменитые» вошли жизнеописания самых выдающихся поэтов России, начиная от Ломоносова и Державина и заканчивая Рубцовым и Бродским. Автор книги – писатель и поэт Г. Прашкевич размышляет о тайнах поэтического творчества, судьбах великих поэтов России.

Содержание

Предисловие	4
Михаил Васильевич Ломоносов	6
Гавриил Романович Державин	12
Иван Андреевич Крылов	17
Василий Андреевич Жуковский	22
Александр Сергеевич Пушкин	26
Евгений Абрамович Баратынский (Боратынский)	34
Михаил Юрьевич Лермонтов	36
Александр Сергеевич Грибоедов	43
Петр Павлович Ершов	50
Алексей Васильевич Кольцов	53
Федор Иванович Тютчев	57
Николай Алексеевич Некрасов	62
Аполлон Николаевич Майков	67
Алексей Константинович Толстой	70
Афанасий Афанасьевич Фет	74
Яков Петрович Полонский	79
Константин Дмитриевич Бальмонт	82
Конец ознакомительного фрагмента.	84

Геннадий Прашкевич

Самые знаменитые поэты России

Предисловие

Очерки данной книги охватывают два с половиной века русской поэзии. Понятно, здесь не анализируется ее развитие (на это существуют специальные работы), здесь определяются основные направления и обрисовываются фигуры, вызывавшие и продолжающие вызывать интерес читателей. Принцип обрисовки прост: свидетельства современников, прежде всего, и лишь во вторую очередь – свидетельства более поздних биографов. Только в такой смене можно различить живое выражение лиц. «Илья Садофьев, вы меня считаете белым, я считаю вас красным, – сказал в двадцать втором году Виктор Шкловский в ответ на политические обвинения Садофьева. – Но мы оба русские писатели. У нас у обоих не было бумаги для печатания книг. Это кажется, Вам кажется, что мы враги, на самом деле мы погибаем вместе». Уверен, что такое прямое свидетельство дает для обрисовки характера больше, чем любой сухой литературоведческий очерк.

Планировалось начать книгу с Василия Тредиаковского, русского поэта, в 1723 году тайком бежавшего из школы монахов-капуцинов в Славяно-греко-латинскую академию, а затем и дальше – за границу. В Голландии он обучался языкам и знакомился с западной литературой, в Париже слушал математические и философские лекции. В Россию вернулся в 1730 году – образованным человеком, но только после издания модного переводного романа «Езда в остров любви» (к переводу которого он приложил собственные стихи) получил место переводчика в Академии наук. Собственно, с Тредиаковского начинается светская лирика, а с его работы «Новый и краткий способ к сложению российских стихов» (1735) – языковая реформа, в которой остро нуждалась русская поэзия. Вместо неуклюжих силлабических виршей явились стихи гармоничные, легкие, совершенно не представимые до Тредиаковского:

*Часто днями ходит при овине,
при скирдах, то инде, то при льне;
то пролазов смотрит нет ли в тыне
и что делается на гумне...*

Собственно, говоря, из Тредиаковского вышли все поэты России.

Другое дело, что по-настоящему раскованным языком, полным прелести и гармонии, охватывающем все порядки, впервые заговорил Ломоносов, – именно его и помнят читатели.

Выбор поэтических имен вообще не может не вызывать вопросов, но это естественно: никакой выбор не может быть идеальным уже по той простой причине, что список знаменитых (когда-то или теперь) русских поэтов обширен, а рамки данной книги ограничены. Все же думается, что по очеркам, вошедшим в книгу, можно составить некое первое впечатление о силе и притягательности русской поэзии, о характере ее творцов. Автор сам поэт, поэтому он старался не давать никаких прямых оценок, уверенный в том, что читатели сами определятся в изумительном разнообразии русской поэзии. Безмерно благодарен автору Л. Г. Киселевой – за подборку материалов и критические взгляды на текст.

Не следует думать, что книга закончена.

Не Тарковским и не Бродским заканчивается русская поэзия – просто эти имена завершают определенную эпоху, которая затем продолжилась в поэзии «шестидесятниках» и всех поэтах, следующих за ними.

Но это уже – материал другой книги.

Михаил Васильевич Ломоносов

*С высот надзвездной Музикии
к нам ангелами занесен,
он крепче всех твердынь России,
славнее всех ее знамен.
Из памяти изгрызли годы,
за что и кто в Хотине пал, —
но первый звук Хотинской оды
нам первым криком жизни стал.*

В. Ходасевич

Родился 8 (19) ноября 1711 года в деревне Мишанинской близ Холмогор.

Отец имел собственное судно – двухмачтовый «новоманерный гукор» «Святой Архангел Гавриил», прозванный за быстрый ход «чайкой», рыбачил в Белом море и даже в Ледовитом океане. Сын не раз сопровождал его в плаваниях.

Грамоте научился у односельчанина Ивана Шубного и дьячка Семена Никитича Сабельникова. Занятиям этим сильно мешала мачеха. «Имеючи отца, – с горечью писал Ломоносов, – по натуре доброго человека, однако в крайнем невежестве воспитанного, и злую и завистливую мачеху, которая всячески старалась произвести гнев в отце моем, представляя (ему), что я всегда сижу попусту за книгами, принужден был читать и учиться, чему возможно было, в уединенных и пустых местах». Все же Ломоносов самостоятельно изучил «Арифметику» Леонтия Магницкого (которую всегда с уважением называл Вратами учености) и «Славянскую грамматику» Мелетия Смотрицкого – лучшие по тем временам учебные пособия. Все же путь в учебные заведения был для Ломоносова закрыт – в ближайших к деревне Мишанинской Холмогорах знали его простое происхождение. Тайком от родителей выправив паспорт, плечистый парень в декабре 1730 года с обозом мороженой рыбы ушел в Москву. «Дома между тем долго его искали и, не нашед нигде, почитали пропавшим, до возвращения обоза по последнему санному пути».

В январе 1731 года обманным образом Ломоносов поступил в московскую Славяно-греко-латинскую академию: на собеседовании с ректором Г. Копцевичем назвался сыном дворянина. Надо заметить, что Ломоносов и в дальнейшем не пренебрегал подобными методами. Решив, например, пристать к экспедиции, направлявшейся к Аральскому морю, он назвался сыном священнослужителя («отец у меня – города Холмогор церкви Введения Пресвятыя богородицы поп Василей Ломоносов»). Лишь когда Ставленнический стол Академии, засомневавшись, решил проверить представленные сведения в Камер-коллегии, Ломоносов признался, что он – всего лишь крестьянский сын, а попovichем сказался с простоты своей.

Славяно-греко-латинская академия готовила молодых людей к государственной и церковной службе. Кроме обязательного богословия, в академии обучали древним языкам, риторике, пиитике, философии. Ломоносов превосходно учился: за пять лет прошел курс, рассчитанный на восемь. Однако, было это не просто. «Школьники, малые ребята, кричат и перстами указывают: смотри-де какой болван в лет двадцать пришел латыни учиться! – жаловался Ломоносов. – Обучаясь в Спасских школах, имел я со всех сторон отвращающие от наук пресильные стремления... Имея один алтын в день жалованья, нельзя было иметь на пропитание в день больше как на денежку хлеба и на денежку квасу, прочее на бумагу, на обувь и на другие нужды...»

Ломоносову и впредь не раз пришлось жестко экономить на всем.

Он, например, самолично лил из охотничьей дроби свинцовые палочки, которыми в то время писали, а бывало, и перо драл тайком с чужих гусей – для тех же целей. Характер у него был вспыльчивый и горячий, нетерпимость к невежеству («к любой дурости», как он говорил) сильно усложняли его жизнь. Когда немец историк А. Шлецер в одной из своих работ написал, что «...все, до сих пор в России напечатанное, ощутительно дурно, недостаточно и неверно», Ломоносов, оценивая эту работу, заметил со всей присущей ему прямо-той: «...Из сего заключить можно, каких гнусных пакостей не наколобродит в российских древностях такая допущенная к ним скотина». На заседаниях российской Академии наук случались порой самые настоящие баталии, отнюдь не просто словесные. После одной такой баталии Ломоносов был даже взят под стражу и восемь месяцев провел под строгим домашним арестом. Как раз в эти месяцы создал он «Краткое руководство к риторике» – ученый труд, предназначенный широкому кругу читателей, и впервые написанный на русском, а не на латинском языке.

Но это позже...

А в начале 1736 года в числе нескольких лучших учеников Ломоносов был переведен в Университет при Петербургской академии наук. Академия готовила несколько крупных экспедиций в Сибирь, требовались ученые люди, сведущие в горном деле и в химии. По этой причине с Дмитрием Виноградовым (будущим изобретателем русского фарфора) и Густавом Рейзером Ломоносова отправили за границу, где в течение трех лет русские студенты обучались в Марбургском университете (Германия) под руководством известного ученого Христиана Вольфа. С собою Ломоносов взял купленный перед отъездом трактат русского поэта Тредиаковского – «Новый и краткий способ к сложению российских стихов с определениями до сего надлежащих званий». К занятиям у Вольфа книга не имела никакого отношения, зато прибавила Ломоносову желания заняться стихотворчеством, русским поэтическим языком. Повезло русскому студенту и в том, что его учитель Вольф умел обучать именно точным и нужным вещам, а не просто «аристотелиеву умению отвечать на любые, даже самые каверзные вопросы».

По окончании курса Ломоносова перевели во Фрейберг – учиться горному делу у бергсрата И. Генкеля. Впрочем, с бергсратом он быстро разругался. «Он презирал всю разумную философию, – писал позже Ломоносов, – и когда я однажды, по его приказанию, начал излагать причину химических явлений (не по его перипатетическому концепту, а на основе принципов механики и гидростатики), то он тотчас же велел мне замолчать, и с обычной своей наглостью поднял мои объяснения на смех, как пустую причуду». В мае 1740 года, никому ничего не сказав, обиженный Ломоносов налегке ушел из Фрейберга, прихватив с собою только точные пробирные весы. Скорее всего, весы ему не принадлежали. Беглый студент попытался разыскать русского посла в Саксонии, но этого не случилось: посол часто переезжал из города в город. Тогда Ломоносов пешком добрался до Лейпцига, а оттуда ушел в любезный его сердцу Марбург. Там, в июне 1740 года, он обвенчался с Елизаветой Цильх – дочерью пивовара, своего домохозяина. Скоро у него родилась дочь Екатерина-Елизавета.

Казалось, жизнь начинает обретать какие-то определенные рамки, но однажды, по уже сложившейся привычке, Ломоносов вновь, никому не сказавшись, вышел со двора и отправился в Голландию. Недалеко от Дюссельдорфа, польстившись на рост и силу странствующего студента, его пытались завербовать в гвардию прусские офицеры. Любившего крепкое вино Ломоносова даже доставили в крепость Вессель, но, проспавшись, он сбежал из крепости, преодолев для этого крепостные сооружения и заполненный водою широкий ров.

Так достиг он вестфальской границы, а затем Амстердама.

Только в июне 1741 года, после почти пятилетнего пребывания за границей, Ломоносов вернулся в Россию. В Петербурге поначалу он выполнял разные поручения: составлял каталог минералов Кунсткамеры, занимался переводами для газет. Но в январе 1742 года, после

рассмотрения Конференцией Академии наук поданных им диссертаций (одна из них сохранилась – «Рассуждение о зажигательном катоптрикодиоптрическом инструменте»), он был назначен адъюнктом Академии по физическому классу, а в августе 1745 года – профессором (академиком) химии. «В бытность мою при Академии наук, – писал Ломоносов в одной из челобитных, поданных на имя императрицы Елизаветы, – трудился я довольно в переводах физических и механических и пиитических с латинского, немецкого и французского языков на российский и сочинил на российском же языке горную книгу и риторику и сверх того в чтении славных авторов, в обучении назначенных ко мне студентов, в изобретении новых химических опытов, сколько за неимением лаборатории быть может, и в сочинении новых диссертаций с возможным прилежанием упражняюсь».

Из Марбурга в Петербург приехала Елизавета Цильх с дочерью.

Несколько остепенившийся Ломоносов добился того, что в 1748 году была построена на Васильевском острове химическая лаборатория. Благодаря изготовленным им окрашенным мозаичным стеклам, очень понравившимся императрице, Ломоносов в 1753 году получил в свое полное владение поместье в Усть-Рудицах – в 64 верстах от Петербурга. Там он устроил настоящую фабрику, которая производила мозаичное стекло самых необыкновенных расцветок. Из этого стекла, кстати, создана знаменитая мозаичная картина «Полтавская баталия». Уникальная по размерам – 30 кв. м. – картина действительно является художественным созданием и ни в чем не уступает выдающимся образцам итальянских мозаик.

Академические заслуги Ломоносова сейчас общеизвестны: химию из ремесла он поднял до уровня точной науки; предложил корпускулярную теорию и атомистические представления о строении вещества; первый сформулировал закон сохранения вещества и движения; создал различные приборы для химических исследований; организовал исправление географических карт, даже составил в 1763 году «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». Наблюдая в мае 1761 года прохождение тени планеты Венеры по солнечному диску, он высказал предположение, что на Венере существует атмосфера, подобная земной. На Венере, писал Ломоносов, как и на Земле, «...пары восходят, стущаются облака, падают дожди, протекают ручьи, собираются в реки, реки втекают в моря, произрастают везде разные прозябения, ими питаются животные».

К поэзии Ломоносов обратился еще в Славяно-греко-латинской академии: там молодых людей учили вести рассуждения на заданные темы в рифмованных строках, – это считалось важным признаком образованности. Русская словесность только еще выходила из-под церковной зависимости. Появление женщин на ассамблеях и празднествах, разрешенное Петром I, вызвало к жизни первые образцы настоящей любовной лирики. *«Вся кипящая похоть в лице его зрится; как уголь горящий все оно краснело. Руки ей давил, щупал и все тело. А неверна о всем том весьма веселилась!»* – уже и так осмеливались писать поэты.

Ломоносов решительно поддержал реформу русского поэтического языка, начатую Тредиаковским. Еще в 1739 году, посылая в Петербург оду «На взятие Хотина», он приложил к рукописи сочиненное им «Письмо о правилах российского стихотворства». Все стихотворные произведения устного творчества связаны прежде всего с напевом, утверждал Ломоносов, а их система – тоническая. Именно такие гармонические стихи всегда жили и распространялись в народе, к сожалению, почти не проникая в письменную литературу. В письменной литературе с давних пор утвердилась пришедшая с запада, прежде всего из Польши, система стихосложения, основанная не на ритме ударений, а на равном количестве слогов в каждой стихотворной строке, так называемая – силлабическая. Каждая пара строк в этой системе связывалась рифмой, причем обязательно женской, потому что ударным оказывался предпоследний слог каждой строки. А в русском языке ударение не закреплено на определенном месте слова, как в польском (на предпоследнем слоге), или во французском

(на последнем). Силлабические правила поэтики чрезвычайно ограничивали возможности русского стиха.

«В 1743 году Третьяковский, Ломоносов и Сумароков, – писал А. Морозов, один из биографов Ломоносова, – согласились испытать свои силы в „переложении“ 143-го псалма, чтобы на деле доказать справедливость своих мнений. Результаты состязаний были опубликованы в следующем году отдельной книжкой, без указаний имен поэтов. В предисловии, написанном Третьяковским, с гордостью подчеркивалось, что „российские стихи“ ныне являются „в совершеннейшем виде и с приятнейшим слуху стоп падением, нежели как старые бесстопные были“. Эту заслугу Третьяковский, разумеется, приписывал себе. Но он теперь уже не настаивал на особых достоинствах и преимуществах хореев перед ямбом (как делал прежде), а утверждал, что „некоторая из сих стоп сама собою не имеет как благородства, так и нежности“. Все зависит от характера изображения, „так что и ямбом состоящий стих равно изобразит слаткую нежность, когда нежные слова приберутся, и хореем высшее благородство, ежели стихотворец употребит высокие и благородные речи“. Третьяковский сообщал, что другой поэт (это был Ломоносов) настаивает на преимуществах ямба и утверждает, что эта стопа „высокое сама собою имеет благородство, для того что она возносится снизу вверх, от чего всякому чувствительно слышна высота ее и великолепие, и что, следовательно, всякой героический стих, которым обыкновенно благородная и высокая материя поется, долженствует состоять сею стопою; а хорей, с природы нежность и приятную сладость имеющий сам же собою“, по его мнению, „должен токмо составлять элегический род стихотворения и другие подобные, которые нежных и мяхких требуют описаний“.

Сумароков разделял мнение Ломоносова. Однако, в этом теоретическом споре более прав оказался Третьяковский. Стихотворный размер сам по себе еще не определяет ни жанровую пригодность, ни эмоциональный фон произведения, хотя в отдельных литературах возникает традиция восприятия ямба и хореев, определяющая тяготение к ним различных жанров. Свое переложение псалма Ломоносов писал под домашним арестом – после очередной стычки с академическим начальством, в то время почти сплошь состоявшем из немцев. Его Песнопевец, обращаясь к Богу, восклицал:

*Меня объял чужой народ,
В пучине я погряз глубокой,
Ты с тверди длань простри высокой,
Спаси меня от многих вод...
Избавь меня от хищных рук
И от чужих народов власти,
Их речь полна тщеты, напасти,
Рука их в нас наводит лук...*

Несколько мягче звучало ямбическое переложение Сумарокова:

*Прости с небес свою зеницу,
Избавь мя от врагов моих;
Поддай мне крепкую десницу,
Изми мя от сынов чужих,
Разрушь бунтующи народы,
И станут брань творящи воды...*

Что же касается Третьяковского, то, конечно, он выполнил свое переложение хореем:

*На защиту мне смиренну
Руку сам простри с высот,
От врагов же толь презренну,
По великости щедрот,
Даруй способ. И избавлюсь;
Вознеси рог, и прославлюсь:
Род чужих, как буйн вод шум,
Быстро с воплем набегает,
Помощь он мою ругает
И приемлет в баснь и глум...*

Императрица Елизавета и ее двор мало интересовались научными работами Ломоносова, однако оды поэта нравились. За одну из них Ломоносов получил от императрицы единовременнo 2000 рублей, – сумму большую, чем его трехлетнее жалованье в Академии наук (600 рублей в год). Торжественные оды Ломоносова привлекали внимание живостью, звонкостью, свежестью метафор, обращением к реальным вещам, что, собственно, и делало их явлением. Странно, что Валерий Брюсов, обосновывая в начале XX века «научную поэзию», обратился к вполне второстепенному французскому поэту Рене Гиллю, а не к чеканным стихам Ломоносова, до сих пор сохраняющим эмоциональную силу.

«Лицо свое скрывает день; поля покрыла мрачна ночь; взошла на горы чорна тень; лучи от нас склонились прочь; открылась бездна звезд полна; звездам числа нет, бездне дна...

Уста премудрых нам гласят: там разных множество светов; несчетны солнца там горят, народы там и круг веков: для общей славы божества там равна сила естества...

Что зыблет ясный ночью луч? Что тонкий пламень в твердь разит? Как молния без грозных туч стремится от земли в зенит? Как может быть, чтоб мерзлый пар среди зимы рождал пожар?».

В 1755 году по инициативе Ломоносова был основан первый в России Московский университет. Заслугой Ломоносова можно считать то, что в университете никогда не читалось богословие, – с самого начала он стал центром именно науки.

В 1757 году Ломоносов получил место советника канцелярии Академии наук, а в 1758 году – смотрителя Географического департамента, а также Исторического собрания, университета и гимназии при Академии наук. В эти годы Ломоносов создал свое учение о «трех штилях» – новую теорию литературных жанров, изложив ее в работе «Предисловие о пользе книг церковных в российском языке».

Три штиля – высокий, средний и низкий – отличаются, считал поэт, пропорцией старославянских и разговорных элементов: высокий штиль – насыщенностью книжных, обветшалых «речений»; средний штиль – смесью «речений» простонародных и старославянских (книжных); наконец, низкий штиль – естественной простотой речи. Понятно, что при таком отношении к языку его словарный состав несомненно начинал влиять на выбор литературных жанров. Высокий стиль, считал Ломоносов, должен помогать написанию героических поэм, торжественных од, речей о важных материях; средний стиль – сочинений для театра, стихотворных дружеских писем и посланий, сатир, эклог, элегий; низкий – комедий, эпиграмм, песен, описаний обыкновенных дел; в низком стиле не могут употребляться старославянские выражения, здесь широко используются обыкновенные простонародные слова. Скажем, вместо *глас* – *голос*, вместо *хлад* – *холод*, и так далее. Казалось бы, разница небольшая, но она разительно меняла интонацию стихов, их эмоциональное насыщение.

С годами Ломоносов тучнел, здоровье его убывало. Но все с той же энергией вел он борьбу за истинно русский язык. «За то терплю, – с горечью писал он незадолго до смерти, –

что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы выучились Россияне, чтобы показали свое достоинство».

Умер, простудившись, 4 апреля 1765 года.

Гавриил Романович Державин

*Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Через звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.*

Родился 3 (14) июля 1743 года в деревне Кармачи Казанской губернии.

Потомок татарского мурзы Багрима, выселившегося в XV веке из Большой Орды. Отец был офицером. Выйдя в отставку, приобрел небольшой участок под Казанью. «Имел за собою по разделу с пятерыми братьями крестьян только 10 душ, а мать – 50. При всем сем недостатке были благонравные и добродетельные люди».

В 1757 году Державин поступил в Казанскую гимназию.

Учился хорошо, но закончить гимназию ему не удалось: в феврале 1762 года его вызвали в Петербург и определили в гвардейский Преображенский полк. Службу начал простым солдатом и прослужил десять лет. Известно, что первые стихи Державина были обращены к некоей солдатской дочери Наташе. Вместе с полком участвовал в дворцовом перевороте, приведшем на престол императрицу Екатерину II. Горячий от природы, вел жизнь, которую трудно назвать пристойной – участвовал в шумных пирушках, не бежал от карт. Однако в 1767 году, при создании Комиссии по составлению «Нового уложения», Державин, как человек грамотный, был привлечен к ведению письменных дел.

В 1773 году впервые выступил в печати (с переводом и оригинальным стихотворением) в сборнике «Старина и новизна». Осенью того же года Державина прикомандировали к секретной Следственной комиссии; в течение года он находился в войсках, действовавших против Пугачева. В записях А. С. Пушкин сохранилась такая: «(Слышал от сенатора Баранова). Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерены идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина (впоследствии богача) изъяснения, зачем собрался народ и по чьему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем – и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил их, что за ним идут три полка. Дмитриев уверял, – добавил Пушкин в приписке, – что Державин повесил их из поэтического любопытства».

В 1776 году вышел сборник стихов Державина – «Оды, переведенные и сочиненные при горе Читалагае 1774 года». В феврале следующего года поэт перевелся в статскую службу с чином коллежского советника, а в апреле 1778 года женился на Екатерине Яковлевне Бастидон, которую дома непременно всегда называл только Пленирой.

До Державина русская поэзия все еще оставалась достаточно условной. Он смело и необыкновенно расширил ее темы – от торжественной оды до самой простой песни. Впервые в российской поэзии появился образ автора, личность самого поэта. В основе искусства лежит высокая истина, считал Державин, разъяснить которую может только поэт. Искусство должно подражать природе, только тогда можно приблизиться к истинному постижению мира, к истинному изучению людей, к исправлению их нравов.

В 1783 году в журнале «Собеседник любителей российского слова» была напечатана «Ода к премудрой киргиз-кайсацкой царевне Фелице, писанная татарским мурзою, издавна поселившимся в Москве, а живущим по делам своим в Санкт-Петербурге». Это сочинение Державина чрезвычайно понравилось императрице. Счастливым и благодарным поэт писал княгине Дашковой, обратившей внимание императрицы на оду: «Сиятельнейшая княгиня, милостивая государыня. Вчерась после полудня, часу в девятом, в доме князя Александра Алексеевича получил я в пакете, подписанном на мое имя из Оренбурга, золотую табакерку, осыпанную бриллиантами, и 500 червонных, всего, думаю, тысячи на три рублей. Приказчик мой тамошней деревни моей никогда не был столько щедр. Я догадываюсь, что, конечно, из того края премудрая Фелица, по соседству, своему мурзе послала сей драгоценный дар, но мне попался ошибкою. Как бы то ни было, я принял с радостным замешательством и восторга моего скрыть не мог; я рассказал всем случившимся мои чувствования как в рассуждении царевны, так и вас, милостивая государыня, предстательством которой, как я думаю, получаю я столь великое и неожиданное награждение за мои слабые дарования...» Известно, что на приеме Екатерина II, выслушав оду «На взятие Измаила», ласково заметила Державину: «Я не знала по сие время, что труба ваша столь же громка, как и лира приятна».

В мае 1784 года Державин был назначен правителем Олонецкой губернии, а в декабре 1785 года его перевели на ту же должность в Тамбовскую губернию. Там не умеющий не наживать врагов поэт попал в 1788 году под суд – за превышение власти. После долгого разбирательства его все же оправдали. «Дело мое кончено, – писал Державин В. В. Капнисту. – Гудович дурак, а я умен. Ее императорское величество всемилостивейшая государыня с особливым вниманием изволила рассмотреть доклад 6-го департамента о моих проступках, о которых Гудович доносил, и приказала мне через статс-секретаря объявить свое благоволение точно сими словами: „Когда и Сенат уже его оправдал, то могу ли я в чем обвинить автора „Фелицы“? – вследствие чего дело повелела считать решенным, а меня представить. Почему я в Сарском Селе и был представлен; оказано мне отличное благоволение; когда пожаловала руку, то окружающим сказала: „Это мой собственный автор, которого притесняли“. А потом, как сказывали, чего я однако же не утверждаю, во внутренних покоях продолжать изволила, что она желала бы иметь людей более с таковыми расположениями, и оставлен был я в тот день обедать в присутствии Ее величества. Политики предзнаменуют для меня нечто хорошее; но я все слушаю равнодушно, а поверю только тому, что действительно сбудется. Посмотрим, чем вознаграждена будет пострадавшая невинность...“

Пострадавшая невинность вознаграждена была в 1791 местом кабинет-секретаря Екатерины II, где поэт сильно докучал императрице своим усердием. В конце концов Державину подыскали не хлопотную должность сенатора.

«XVIII век, – писал поэт В. Ходасевич, один из лучших биографов Державина, – особенно его петровское начало и екатерининское завершение, был в России веком созидательным и победным. Державин был одним из сподвижников Екатерины не только в насаждении просвещения, но и в области устроения государственного. Во дни Екатерины эти две области были связаны между собою теснее, чем когда бы то ни было, всякая культурная деятельность, в том числе поэтическая, являлась *прямым* участием в созидании государства. Необходимо было не только вылепить внешние формы России, но и вдохнуть в них живой дух культуры. Державин-поэт был таким же непосредственным строителем России, как и Державин-администратор. Поэтому можно сказать, что его стихи суть вовсе не *документ* эпохи, не отражение ее, а некая реальная часть ее содержания; не время Державина *отразилось* в его стихах, а сами они, в числе иных факторов, *создали* это время. В те дни победные пушки согласно перекликались с победными стихами. Державин был мирным бойцом, Суворов – военным. Делали они одно общее дело, иногда, впрочем, меняясь оружием. Вряд ли многим известно, что не только Державин Суворову, но и Суворов Державину посвящал стихи. Зато

и Державин одно время воевал с Пугачевым. И, пожалуй, разница между победами одного и творческими достижениями другого – меньше, чем кажется с первого взгляда».

Впрочем, и сам Державин смотрел на поэзию, на свой талант, прежде всего, как на некое орудие, данное ему свыше для политических битв. Он даже составил особый «ключ» к своим работам – подробный комментарий, указывающий, какие именно события привели к созданию того или иного произведения.

В июле 1794 года умерла первая жена Державина.

«Не могли быть спокойным о домашних недостатках и по службе неприятностях, чтоб от скуки не уклониться в какой разврат, женился он генваря 31-го дня 1795 года на другой жене, девице Дарье Алексеевне Дьяковой (которую в доме с нежностью называл Милена), – в третьем лице писал о себе Державин. – Он избрал ее, так же как и первую, не по богатству и не по каким-либо светским расчетам, но по уважению ее разума и добродетелей, которые узнал гораздо прежде, чем на ней женился».

В 1797 году Державин приобрел имение Званка, где ежегодно проводил по несколько месяцев. В следующем году вышел в свет первый том его сочинений, в который вошли такие обессмертившие его имя стихи, как «На рождение порфирородного отрока», «На смерть кн. Мещерского», «Ключ», оды «Бог», «На взятие Измаила», «Вельможа», «Водопад», «Снегирь». При императоре Павле I поэта назначили государственным казначеем, но с Павлом он не поладил, так как по сформировавшейся у него привычке при своих докладах часто грубил и ругался. «Поиди назад в Сенат, – однажды накричал на него император, – и сиди у меня там смирно, а не то я тебя прочучу!» Пораженный гневом Павла I, Державин лишь вымолвил: «Ждите, будет от этого царя толк». Александр I, сменивший Павла, тоже не оставил Державина без внимания – назначил его министром юстиции. Но через год освободил: «слишком ревностно служит».

Выйдя в отставку, Державин практически полностью посвятил себя драматургии – сочинил несколько либретто опер, трагедии «Ирод и Мариамна», «Евпраксия», «Темный». С 1807 года активно участвовал в собраниях литературного кружка, позднее составившего известное общество «Беседа любителей русского слова». Работал над «Рассуждением о лирической поэзии или об оде», в которой обобщил свой собственный литературный опыт.

«Почти всякий раз, как я бывал у Державина, – вспоминал писатель С. Т. Аксаков, – я упрашивал его выслушать что-нибудь из его прежних стихов, на что он не всегда охотно соглашался. Я прибегал к разным хитростям: предлагал какое-нибудь сомнение, притворялся не понимающим некоторых намеков, лгал на себя или на других, будто бы считающих такие-то стихотворения самыми лучшими, или, напротив, самыми слабыми, иногда читал его стихи наизусть в подтверждение собственных мыслей, нравственных убеждений или сочувствия к красотам природы. Гаврила Романыч легко поддавался такому невинному обману и вступал иногда в горячий спор, но редко удавалось мне возбудить в нем такое сильное чувство чтением прежних его стихов, какое обнаружил он в первое наше свиданье, слушая оду к Перфильеву. По большей части по окончании чтения он с улыбкой говаривал: „Ну да, это недурно, есть огонь, да ведь это пустяки; все это так, около себя, и важного значения для потомства не имеет; все это скоро забудут; но мои трагедии, но мои антологические пиесы будут оценены и будут жить“. Безгранично предаваясь пылу молодого восторга при чтении его прежних пустяков, я уже не мог воспламеняться до самозабвения, читая его новейшие сочинения, как это случилось со мной при чтении „Ирода и Мариамны“. Державин это чувствовал, хотя я старался по возможности обмануть его поддельным жаром и громом пышной декламации: он досадовал и огорчался. „У вас все оды в голове, – говорил он, – вы способны только чувствовать лирические порывы, а драматическую поэзию вы не всегда и не всю понимаете“. Иногда, впрочем, он бывал доволен мною...

Державин любил также так называемую тогда *эротическую поэзию* и щеголял в ней мягкостью языка и исключением слов с буквою *р*. Он написал в этом роде много стихотворений, вероятно втрое более, чем их напечатано; все они, лишённые прежнего огня, заменённого иногда нескромностью картин, производили неприятное впечатление. Но Державин любил слушать их и любил, чтоб слушали другие, особенно дамы. В первый раз я очень смутился, когда он приказал мне прочесть, в присутствии молодых девиц, любимую свою пиесу «Аристиппова баня», которая была впоследствии напечатана, но с исключениями. Я остановился и сказал: «Не угодно ли ему назначить что-нибудь другое?» – «Ничего, – возразил, смеясь, Гаврила Романыч, – у девушек уши золотом завешены».

Благородный и прямой характер Державина, – писал далее Аксаков, – был так открыт, так определен, так известен, что в нем никто не ошибался; все, кто писали о нем, – писали очень верно. Можно себе представить, что в молодости его горячность и вспыльчивость были еще сильнее и что живость вовлекала его часто в опрометчивые речи и неосторожные поступки. Сколько я мог заметить, он не научился еще, несмотря на семидесятитрехлетнюю опытность, владеть своими чувствами и скрывать от других сердечное волнение. Нетерпеливость, как мне кажется, была главным свойством его нрава; и я думаю, что она много наделала ему неприятных хлопот в житейском быту и даже мешала вырабатывать гладкость и правильность языка в стихах. Как скоро его оставляло вдохновение – он приходил в нетерпение и управлялся уже с языком без всякого уважения: гнул на колени синтаксис, словоударение и самое словоупотребление. Он показывал мне, как исправил негладкие, шероховатые выражения в прежних своих сочинениях, приготовляемых им для будущего издания. Положительно могу сказать, что исправляемое было несравненно хуже неисправленного, а неправильности заменялись еще большими неправильностями. Я приписываю такую неудачу в поправках единственно нетерпеливому нраву Державина».

Известна и запись Пушкина, посвященная встрече с Державиным.

«Державина видел я только однажды в жизни, но никогда того не позабуду. Это было в 1815 году. Как узнали мы, что Державин будет к нам (в Царскосельский лицей), все мы взволновались. Дельви́г вышел на лестницу, чтоб дожидаться его и поцеловать ему руку, руку, написавшую „Водопад“. Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельви́г услышал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаический вопрос разочаровал Дельви́га, который отменил свое намерение и возвратился в залу. Дельви́г это рассказывал мне с удивительным простодушием и веселостью. Державин был очень стар. Он был в мундире и в плисовых сапогах. Экзамен наш очень его утомил. Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы отвислы; портрет его (где представлен он в колпаке и в халате) очень похож. Он дремал до тех пор, пока не начался экзамен в русской словесности. Тут он оживился, глаза заблистали; он преобразился весь. Разумеется, читаны были его стихи, разбирались его стихи, поминутно хвалили его стихи. Он слушал с живостью необыкновенной. Наконец вызвали меня. Я прочел мои „Воспоминания в Царском Селе“, стоя в двух шагах от Державина. Я не в силах описать состояния души моей: когда дошел я до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отроческий зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении; он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли...»

Впрочем, в те годы Пушкин уже считал Державина поэтом прошлого.

В 1925 году он писал А. А. Дельви́гу: «По твоем отъезде перечел я Державина всего, и вот мое окончательное мнение: этот чудак не знал ни русской грамоты, ни духа русского языка – (вот почему он и ниже Ломоносова), – он не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии – ни даже о правилах стихосложения. Вот почему он и должен бесить всякое разборчивое ухо. Он не только не выдерживает оды, но не может выдержать и строфы. Читая его, кажется,

читаешь дурной, вольный перевод с какого-то чудесного подлинника. Ей-богу, его гений думал по-татарски – а русской грамоты не знал за недосугом. – И дальше: – Державин, со временем переведенный, изумит Европу, а мы из гордости народной не скажем всего, что мы знаем об нем (не говоря уж о его мастерстве). У Державина должно сохранить будет од восемь да несколько отрывков, а прочее сжечь. Жаль, что наш поэт, как Суворов, слишком часто кричал петухом». Но, разумеется, это слова гения, сказанные больше для самого себя.

Умер Державин 8 (20) 1816 года в селе Званка Новгородской губернии.

Похоронен в Петербурге.

Иван Андреевич Крылов

Родился 2 (13) февраля 1769 года в Москве.

«Отец Крылова (капитан) – указывал Пушкин в записях к „Истории Пугачева“ – был при Симанове в *Яицком городке*. Его твердость и благоразумие имели большое влияние на тамошние дела и сильно помогли Симанову, который вначале было струсил. Иван Андреевич находился тогда с матерью в Оренбурге. На их двор упало несколько ядер, он помнит голод и то, что за куль муки заплачено было его матерью (и то тихонько) 25 р.! Так как чин капитана в Яицкой крепости был замечен, то найдено было в бумагах Пугачева в расписании, кого на какой улице повесить, и имя Крыловой с ее сыном».

В 1774 году отец будущего поэта вышел в отставку и поселился в Твери, где занял должность председателя губернского магистрата. После его смерти мать, впавшая в нужду и подрабатывавшая услугами в богатых домах, упростила местное начальство принять девятилетнего сына, получившего домашнее образование, на службу – переписывать деловые бумаги. А в 1782 году, переехав с матерью в Петербург, Крылов уже сам поступил канцеляристом в Казенную палату. В Петербурге он увлекся театром, в котором ставились пьесы Фонвизина, Княжнина, Сумарокова. Близко познакомился с актерами И. Дмитриевским и П. Плавильщиковым, с директором театров генерал-майором П. А. Соймоновым. Сам в 1783 году написал комическую оперу в стихах «Кофейница», не попавшую, впрочем, ни в печать, ни на сцену.

Следующим сочинением Крылова стала трагедия «Клеопатра».

«Клеопатра» тоже не была ни напечатана, ни поставлена, а Дмитриевский отнесся к трагедии столь сурово, что Крылов понял: тратить время на ее переделку не стоит. Успех пьесы в то время в огромной степени зависел от общественного положения автора: безвестный разночинец Крылов никак не мог так вот сразу войти в круг признанных авторов. «Постоянная нехватка средств и наличие огня в крови», как заметил писатель В. Петров, привели к тому, что в 1788 году Крылов в сатире-памфлете «Проказники» столь резко высказался в адрес своих обидчиков, что Княжнин и Соймонов попросту порвали с ним всякие отношения. Первые басни, напечатанные Крыловым в 1788 году в журнале «Утренние часы», тоже прошли совершенно незамеченными. Тогда Крылов решил издавать журнал.

В 1789 году вышел в свет первый номер «Почты духов». Это был, можно сказать, журнал одного автора. Все его страницы занимала философическая переписка духов воздушных, водяных и подземных с арабским мудрецом Маликульмульком. «Чем более живу я между людьми, – указывал Маликульмульку гном Зора, – тем больше кажется мне, будто я окружен бесчисленным множеством кукол, которых самая малая причина заставляет прыгать, кричать, смеяться. Никто не делает ничего по своей воле, но все как будто на пружинах». При таком слишком уж конкретном подходе «Почта духов» не могла долго просуществовать и скоро была закрыта цензурой. Тогда с 1792 года начал выходить новый журнал – «Зритель», издаваемый уже не одним Крыловым, а литературным кружком, в который вошли А. И. Клушин, И. А. Дмитриев и П. А. Плавильщиков. В программной статье «Нечто о врожденном свойстве душ российских» с возмущением говорилось о давнем дворянском космополитизме, против которого и был поведен огонь. Впрочем, уже в мае 1792 года «Зритель» тоже был закрыт. Такая же судьба постигла и основанный Крыловым (в компании с Клушиным) журнал «Санкт-Петербургский Меркурий».

На некоторое время Крылов отошел от литературных дел. Средства для существования начала приносить ему карточная игра, в которой он оказался величайшим и дерзким мастером (а говорят, и фокусником). Гастроли Крылова запомнили в Москве, в Нижнем Новгороде, в Ярославле, в Тамбове, в Киеве, в Могилеве, в Серпухове, в Туле. В конце концов,

карты, наверное, его и сгубили бы, но в начале 1797 года он близко подружился с князем С. Ф. Голицыным. Князь предложил Крылову занять место его личного секретаря и домашнего учителя. Теперь Крылов много времени проводил в имении князя – селе Казацком Киевской губернии. Владая несколькими языками, он обучал сыновей князя языкам и словесности, играл на музыкальных инструментах. Специально для домашнего театра Голицыных Крылов написал шутовскую трагедию «Трумф, или Подщипа» и сам сыграл в ней роль Трумфа – наглого немецкого принца.

11 марта 1801 года в России произошел дворцовый переворот: император Павел I был задушен, на престол вступил Александр I. Князь Голицын, пользовавшийся доверием нового царя, был назначен лифляндским генерал-губернатором, а его секретарь произведен в правители канцелярии. Два года Крылов прослужил в Риге, а осенью 1803 года переехал в Серпухов к своему брату Льву Андреевичу – офицеру Орловского мушкетерского полка. Тогда же в Петербурге впервые была поставлена на сцене пьеса Крылова – «Пирог». Этот успех позволил Крылову вернуться к литературе. Появились его пьесы «Модная лавка», «Лентяй», а дружба с баснописцем Дмитриевым подтолкнула его к переводу некоторых басен Лафонтена. В конце концов, Крылов вернулся в Петербург и навсегда в нем обосновался, сняв квартиру в доме А. Н. Оленина.

«Крылов, – вспоминал один из друзей поэта, – был высокого роста, весьма тучный, с седыми, всегда растрепанными волосами; одевался он крайне неряшливо: сюртук носил постоянно запачканный, залитый чем-нибудь, жилет надет был вкривь и вкось. Жил Крылов довольно грязно. Все это крайне не нравилось Олениным, особенно Елисавете Марковне и Варваре Алексеевне. Они делали некоторые попытки улучшить в этом отношении житье-бытье Ивана Андреевича, но такие попытки ни к чему не приводили. Однажды Крылов собирался на придворный маскарад и спрашивал совета у Елисаветы Марковны и ее дочерей; Варвара Алексеевна по этому случаю сказала ему: „Вы, Иван Андреевич, вымойтесь да причешитесь, и вас никто не узнает“.

В 1809 году вышел в свет первый сборник басен Крылова, сразу принесший ему известность. В 1811 году появились «Новые басни Ивана Крылова», в 1815 году – «Басни Ивана Крылова» в трех частях, в 1816 году – «Новые басни И. А. Крылова», составившие четвертую и пятую части, в 1819 году – в шести частях, в 1825 году – в семи, а в 1830 году – уже в восьми.

«В „Беседе ревнителей русского слова“, бывшей в доме Державина, – вспоминал писатель М. Лобанов, близко знавший Крылова, – приготавливаясь к публичному чтению, просили его прочитать одну из его новых басен, которые были тогда лакомым блюдом всякого литературного пира и угощения. Он обещал, но на предварительное чтение не явился, а приехал в Беседу во время самого чтения. И довольно поздно. Читали какую-то чрезвычайно длинную пьесу. Он сел за стол. Председатель отделения А. С. Хвостов вполголоса спрашивает у него: „Иван Андреевич, что, привезли?“ – „Привез“. – „Пожалуйста мне“. – „А вот ужю, после“. Длилось чтение, публика утомилась, начали скучать. Зевота овладевала многими. Наконец, дочитана пьеса. Тогда Иван Андреевич, руку в карман, вытащил измятый листок и начал: „Демьянова уха“... Содержание басни удивительным образом соответствовало обстоятельствам, и принародное было так ловко, так кстати, что публика громким хохотом от всей души наградила автора за басню». Напомним, что речь в «Демьяновой ухе» идет о безмерном угощении, выдержать которое не всякий способен.

В 1812 году в Петербурге открылась Публичная библиотека. Директором ее назначили Оленина, а Крылов получил должность помощника при В. Сопикове – первом русском библиографе. В Публичной библиотеке Крылов прослужил около тридцати лет, до самой своей отставки, последовавшей в 1841 году. «Все видели и знали в нем только литератора, – писал о Крылове барон М. А. Корф, – но этого *только* литератора уважали и чтити не менее знатного

вельможи. Крылов был принят и взыскан в самом высшем обществе, и все сановники протягивали ему руку не с видом уничижительного снисхождения, а как бы люди, чего-нибудь в нем искавшие, хотя бы маленького отблеска его славы. Его столько же любили и в императорском доме, а у императрицы Марии Федоровны и у великого князя Михаила Павловича он был домашним человеком. Скромный и ровный в своем обращении со всеми, он никогда не зазнавался, но ему, думаю, простили бы даже и заносчивость».

В 1830 году, после выхода в свет басен в восьми книгах, император Николай I удвоил пенсию Крылова и произвел его в статские советники, что приравнивалось к генеральскому званию. «Царская семья благоволила к Крылову, – рассказывал один из друзей поэта, – и одно время он получал приглашения на маленькие обеды к императрице и великим князьям. Прощаясь с Крыловым после одного обеда у себя, дедушка (А. М. Тургенев) пошутил: „Боюсь, Иван Андреевич, что плохо мы вас накормили – избаловали вас царские повара“. Крылов, оглядываясь и убедившись, что никого нет вблизи, ответил: „Что царские повара! С обедов этих никогда сытым не возвращался. А я также прежде так думал – закормят во дворце. Первый раз поехал и соображаю: какой уж тут ужин – и прислугу отпустил. А вышло что? Убранство, сервировка – одна краса. Сели – суп подают: на доньшке зелень какая-то, морковки фестонами вырезаны, да все так на мели и стоит, потому что супу-то самого только лужица. Ей-богу, пять ложек всего набрал. Сомнение взяло: быть может, нашего брата писателя лакеи обносят? Смотрю – нет, у всех такое же полноводье. А пирожки? – не больше грецкого ореха. Захватил я два, а камер-лакей уж удирать норовит. Попридержал я его за пуговицу, и еще парочку снял. Тут вырвался он и двух рядом со мною обнес. Верно, отставать лакеям возбраняется. Рыба хорошая – форели; ведь гатчинские, свои, а такую мелюзгу подают, – куда меньше порционного! Да и что тут удивительного, когда все, что покрупней, торговцам спускают. Я сам у Каменного моста покупал. За рыбами пошли французские финтифлюшки. Как бы горшочек опрокинутый, студнем облицованный, а внутри и зелень, и дичи кусочки, и трюфелей обрезочки – всякие остаточки. На вкус недурно. Хочу второй горшочек взять, а блюдо уж далеко. Что же это, думаю, такое? Здесь только пробовать дают? Добрались до индейки. Не плошай, Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. Подносят. Хотите верьте или нет – только ножки и крылушки, на маленькие кусочки обкромленные, рядышком лежат, а самая-то птица под ними припрятана, и нерезанная пребывает. Хороши молодчики! Взял я ножку, обглодал и положил на тарелку. Смотрю кругом. У всех по косточке на тарелке. Пустыня пустыней. И стало мне грустно-грустно, чуть слеза не прошибла. А тут вижу – царица-матушка печаль мою подметила и что-то главному лакею говорит и на меня указывает. И что же? Второй раз мне индейку поднесли. Низкий поклон я царице отвесил – ведь жалованная. Хочу брать, а птица так неразрезанная и лежит. Нет, брат, шалишь – меня не проведешь: вот так нарежь и сюда принеси, говорю камер-лакею. Так вот фунтик питательного и получил. А все кругом смотрят – завидуют. А индейка-то совсем захудалая, благородной дородности никакой, жарили спозаранку и к обеду, изверги, подогрели! А сладкое! Стыдно сказать. Пол-апельсина! Нутро природное вынуто, а взамен желе с вареньем набито. Со злости с кожей я его и съел. Плохо царей наших кормят, – надувательство кругом. А вина льют без конца. Только что выпьешь, – смотришь, опять рюмка стоит полная. А почему? Потому что придворная челядь потом их распивает. Вернулся я домой голодный-преголодный. Как быть? Прислугу отпустил, ничего не припасено. Пришлось в ресторацию ехать. А теперь, когда там обедать приходится, – ждет меня дома всегда ужин. Приедешь, выпьешь рюмочку водки, как будто вовсе не обедал».

«Весь смысл жизни, все упоение ее, все блаженство, – писал В. В. Вересаев. – заключалось для Крылова в еде. Современница так описывает один из званных обедов, устраивавшихся Крылову его почитателями. Обедали в пять часов. Крылов появлялся аккуратно в половине пятого. Перед обедом он неизменно прочитывал две или три басни. Выходило

у него прелестно. Приняв похвалы как нечто обыденное и должное, Крылов водворялся в кресло, – и все его внимание было обращено теперь на дверь в столовую. Появлялся человек и провозглашал: „Обед подан!“ Крылов быстро поднимался с легкостью, которой и ожидать нельзя было, оправлялся и становился у двери. Вид у него был решительный, как у человека, готового, наконец, приступить к работе. Скрепя сердце, пропускал вперед дам, первый следовал за ними и занимал свое место. Лакей-киргиз Емельян подвязывал Крылову салфетку под самый подбородок, вторую расстилал на коленях и становился позади его стула. На первое блюдо уха с расстегаями; ими всех обносили, но перед Крыловым стояла глубокая тарелка с горою расстегаев. Он быстро с ними покончил и после третьей тарелки ухи обернулся к буфету. Емельян поднес ему большое общее блюдо, на котором еще оставался запас. На второе подали огромные отбивные телячьи котлеты, еле умещались на тарелке, – не осилишь и половины. Крылов съел одну, потом другую; приостановился, окинул взором обедающих, потом произвел математический подсчет и решительно потянулся за третьей. Громадная жареная индейка вызвала у него восхищение. „Жар-птица! – твердил он, жуя и обкапывая салфетку. – У самых уст любезный хруст. Ну и поджарено! Точно кожицу отдельно и индейку отдельно жарили. Искусники! Искусники!“ К этому еще мочения, которые Крылов очень любил, – нежинские огурчики, брусника, морошка. Крылов блаженствовал, плотая огромные антоновки, как сливы. Первые три блюда готовила кухарка, два последних – повар из английского клуба, знаменитый Федосеич. И вот подавался страсбургский паштет, – не в консервах, присланных из-за границы, а свежеприготовленный Федосеичем из самого свежего сливочного масла, трюфелей и гусиных печенок. Крылов делал изумленное лицо и с огорчением обращался к хозяину: „Друг милый и давнишний, зачем предательство это? Ведь узнаю Федосеича руку! Как было по дружбе не предупредить! А теперь что? Все места заняты!“ – „Найдется местечко!“ – утешал хозяин. – „Место-то найдется, но какое? Первые ряды все заняты, партер весь, бельэтаж и все ярусы тоже. Один раек остался. Федосеич – и раек! Ведь это грешно!“ – „Ничего, помаленьку в партер снизойдет!“ – посмеивался хозяин. – „Разве что так“, – соглашался Крылов и накладывал себе тарелку горой.

Но вот и сладкое.

«Ну, что? Найдется еще местечко?» – интересовался хозяин. – «Для Федосеича трудов всегда найдется. А не нашлось бы, то и в проходе постоять можно», – отшучивался Крылов.

Водки и вина пил он немного, но сильно налегал на квас. Когда обед кончался, то около места Крылова на полу валялись бумажки и косточки от котлет, которые или мешали ему работать, или нарочно, из стыдливости, направлялись им под стол. Выходить из столовой Крылов не торопился, пропуская всех вперед. Войдя в кабинет, где пили кофе, он останавливался, деловито осматривался и направлялся к покойному креслу, поодаль от других. Он расставлял ноги и, положив локти на ручки кресла, складывал руки на животе. Крылов не спал, не дремал, – он переваривал. Удав удавом. На лице выражалось довольство. От разговора он положительно отказывался. Все это знали и его не тревожили. Но если кто-нибудь неделикатно запрашивал его, в ответ неслошь неопределенное мычание. Кофея выпивал он два стакана со сливками наполовину, а сливки были – воткнешь ложку, она так и стоит. Чай пили в девятом часу; к этому времени Крылов постепенно отходил, начинал прислушиваться к разговору и принимать в нем участие. Ужина в этом доме не бывало, и хотя Крылов отлично это знал, но для очистки совести, залучив в уголок Емельяна, покорно спрашивал: «Ведь ужина не будет?»

«В поступи его и манерах, в росте и дородстве есть нечто медвежье, – с некоторым сожалением писал о Крылове хорошо знавший его Ф. Ф. Вигель. – Та же сила, та же спокойная угрюмость; при неуклюжести та же смышленность, затейливость и ловкость. В этом необыкновенном человеке были заложены зародыши всех талантов, всех искусств. Скоро, тяжестью тела как бы прикованный к земле и самым пошлым ее удовольствиям, его ум стал

реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не устаивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим. С хозяевами домов, кои по привычке он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков и любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Грустно подумать, что на нем выпечатан весь характер русского народа, каким сделали его татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное право и железная рука Петра. – Вигель все же добавлял: – Если Крылов верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей».

Умер 9 (21) ноября 1844 года в Петербурге.

«За несколько часов до кончины, – вспоминал Лобанов, – он, велев принести себя в кресла, сказал: „Тяжко мне!“ и потребовал, чтобы снова положили его в постель. Вспомнив, что напечатано им новое издание его басен, еще не выпущенное в свет, он поручил окружавшим его разослать по экземпляру всем помнящим о нем. Не я один, а, конечно, многие заплакали, получив приглашение на похороны Крылова и вместе с тем экземпляр изданных им самим басен, на заглавном листе которых, очерченном траурной каймою, было напечатано: *«Приношение. На память об Иване Андреевиче по его желанию»*.

Василий Андреевич Жуковский

Родился 29 (9. II) января 1783 года в селе Мишенском Белевского уезда Тульской губернии.

Незаконный сын помещика Афанасия Ивановича Бунина и пленной турчанки Сальхи, муж которой был убит при осаде русскими войсками крепости Бендеры. Турчанку в Мишенское привез крепостной человек Бунина, участвовавший в кампании. Фамилию и отчество будущий поэт получил от проживавшего в доме обнищавшего дворянина Андрея Григорьевича Жуковского. «Я привык отделять себя от всех, – писал позже поэт, – потому что никто не принимал во мне особенного участия и потому что всякое участие ко мне казалось мне милостью».

Учиться Жуковского отдали в Тулу – в известный пансион Х. Ф. Роде, затем в народное училище. Впрочем, и оттуда, и оттуда его отчислили за неуспеваемость. Зато огромное влияние оказали на него директор Благородного пансиона при Московском университете И. П. Тургенев и его сыновья Андрей и Александр, с которыми Жуковский близко подружился. Прекрасно образованные, знавшие западную литературу, они познакомили Жуковского с поэзией Гете и Шиллера. По окончании пансиона они же организовали «Дружеское литературное общество», в котором, кроме братьев Тургеневых и Жуковского встречались поэт А. Мерзляков, М. и А. Кайсаровы, С. Родзянко, А. Воейков. Целью общества было исключительно изучение литературы, но в старом уютном доме Воейкова на Девичьем поле друзья не раз»...*распалив вином и спорами умы и к человечеству любовью, хотели выкупить блаженство близких кровью*».

Увлеченный литературой, Жуковский перевел «Страдания юного Вертера» Гёте, роман Коцебу «Мальчик у ручья» и его же комедию «Ложный стыд». Благодаря Н. М. Карамзину, редактировавшему в то время «Вестник Европы», появилась в 1802 году в журнале знаменитая элегия Грея «Сельское кладбище», переведенная Жуковским и сразу сделавшая его имя известным. В том же году, оставив службу в Соляной конторе, куда он был определен после окончания университетского курса, Жуковский поселился в родном селе Мишенском с намерением посвятить жизнь только поэзии. В составленном им плане будущих переводов указывались поэмы Мильтона, Клопштока, Тассо, многочисленные отрывки из Вергилия, Гомера, Лукиана, Овидия, Шиллера, стихи немецких, французских и английских поэтов. Надо сказать, что Жуковский не только выполнил этот план, но во многом и превзошел его. «Могу указать вам легкий способ познакомиться со мною, как с поэтом, – писал он позже одному из своих заграничных почитателей, советуя тому внимательно перечитать оригиналы переведенных им стихов Шиллера, Гете, Гебеля и других. – Читая все эти стихотворения, верьте или старайтесь уверить себя, что они все переведены с русского, с Жуковского: тогда вы будете иметь понятие о том, что я написал лучшего в жизни». И дальше, объясняя особенности своего дара: «Мой ум – как огниво, которым надобно ударить об камень, чтоб из него выскочила искра. Это вообще характер моего авторского творчества; у меня почти все или чужое, или по поводу чужого – и все, однако, мое».

В 1805 году, давая уроки своим племянницам (Протасовым), жившим в Белеве, Жуковский страстно влюбился в старшую – Машу, которой, к несчастью, было в то время всего двенадцать лет. «Можно ли быть влюбленным в ребенка?» – записал он в дневнике. Но это была любовь, и когда Марии Андреевне исполнилось девятнадцать лет, он официально попросил ее руки. Сестра поэта (по отцу), мать девушки, пришла в ужас. Она не только не дала согласия на брак, справедливо указывая на близость родства и на разницу в возрасте, но и взяла с Жуковского слово, что он никогда больше не заговорит с девушкой о своей любви.

В 1812 году Жуковский в чине поручика вступил в Московское ополчение.

В день Бородинского сражения он находился в резерве, всего в двух верстах от места боя; после сдачи Москвы его прикомандировали к штабу М. И. Кутузова. В Тарутино Жуковский написал знаменитую оду «Певец во стане русских воинов», в которой поименно прославил всех живых и погибших героев Отечественной войны. В декабре того же года ода появилась в журнале «Вестник Европы», обратив на поэта внимание двора.

В январе 1813 года Жуковский вернулся в родные места. Мысль о браке с Марией Андреевной ни на один день не оставляла поэта, но Протасовы к тому времени переехали в Дерпт. Отправившись туда, Жуковский узнал, что Мария Андреева выходит замуж за профессора Дерптского университета И. Ф. Мойера. Только убедившись, что брак совершается по взаимной любви, Жуковский, наконец, смирился. Он даже написал невесте письмо: «Маша, смотри же, не обмани меня! Чтобы нам непременно вместе состряпать твоё счастье, тогда и все прекрасно!» Печальный роман закончился взаимной дружбой, которая была прервана смертью Марии Андреевны (от родов) в 1823 году.

В сентябре 1815 года Жуковского пригласили на должность чтеца при вдове императора Павла I – Марии Федоровне. Там же, при дворе, он преподавал русский язык немецкой принцессе Шарлотте, будущей жене Николая I, затем занимался воспитанием и образованием наследника престола, будущего императора Александра II. В его свите в начале двадцатых годов Жуковский путешествовал по Германии, Швейцарии, Австрии и между делами перевел на русский язык повесть Т. Мура «Пери и Ангел», поэму Байрона «Шильонский узник» и трагедию Шиллера «Орлеанская дева». По возвращении в Россию писал мало, зато вновь вернулся к мысли о женитьбе. «Увы! – писал Карамзин Дмитриеву. – Жуковский влюблен, но не жених! Ему хотелось бы жениться, но при дворе не так легко найти невесту для стихотворца, хотя и любимого». Роман поэта с графиней С. А. Самойловой, который многие называли странным, кончился действительно странно. «Жуковский, как сказывали мне, – писал одному из своих приятелей поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий, – объяснялся с графиней Самойловой. Ты знаешь, что считали его в нее влюбленным. Он ей сказал, что сожалеет о том, что исканию его дружбы у нее она не ответствовала, и изъявление его к ней дружбы приписала, как видно, другому чувству, которое, впрочем, внушить она всех более может. Как доведено было до этого, и что далее им было сказано, не знаю; но на эти слова она, сказывают, молчала, и будто показались у ней на глазах слезы. И подлинно: как? Человек приходит женщине сказать: не подумай, ради Бога, чтоб я в тебя был влюблен!»

В начале тридцатых годов Жуковский лечился за границей – в Германии. Там были написаны «Сказка о царе Берендее», «Спящая красавица», «Война мышей и лягушек», баллады «Роллан-оруженосец», «Плавание Карла», «Братоубийца». Баллады Жуковского были к тому времени общеизвестны. Никого не интересовало их происхождение, они давно вошли в русскую поэзию и стали явлением именно русской поэзии. *«Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башибочок, сняв с ноги, бросали; снег пололи; под окном слушали; кормили счетным курицу зерном; ярый воск топили; в чашу с чистою водой клали перстень золотой, серьги изумрудны; расстился белый плат и над чашей пели в лад песенки подблюдны...»*

В Петербурге Жуковский жил в Зимнем дворце.

«В год переселения нашего семейства в Петербург – мне было тогда 16 лет, – вспоминал И. С. Тургенев, – моей матушке вздумалось напомнить о себе Василию Андреевичу (когда-то они были знакомы). Она вышила ко дню его именин красивую бархатную подушку и послала меня с нею к нему в Зимний дворец. Я должен был назвать себя, объяснить, чей я сын, и поднести подарок. Но когда я очутился в огромном, до сих пор мне незнакомом дворце; когда мне пришлось пробираться по каменным длинным коридорам, подниматься на каменные лестницы, то и дело натыкаясь на неподвижных, словно тоже каменных, часовых; когда я, наконец, отыскал квартиру Жуковского и очутился перед трехаршинным крас-

ным лакеем с галунами по всем швам и орлами на галунах, – мною овладел такой трепет, я почувствовал такую робость, что, представ в кабинет, куда пригласил меня красный лакей и где из-за длинной конторки глянуло на меня задумчиво-приветливое, но важное и несколько изумленное лицо самого поэта, – я, несмотря на все усилия, не мог произнести звука: язык, как говорится, прилип к гортани, – и, весь сгорая от стыда, едва ли не со слезами на глазах, остановился как вкопанный на пороге двери и только протягивал и поддерживал обеими руками – как младенца при крещении – несчастную подушку, на которой, как теперь помню, была изображена девица в средневековом костюме, с попугаем на плече. Смущение мое, вероятно, возбудило чувство жалости в доброй душе Жуковского; он подошел ко мне, тихонько взял у меня подушку, попросил меня сесть, и снисходительно заговорил со мною. Я объяснил ему наконец, в чем было дело – и, как только мог, бросился бежать».

«Портреты Жуковского почти все очень похожи, – писал дальше Тургенев. – Физиономия его была не из тех, которые уловить трудно, которые часто меняются. Конечно, в 1834 году в нем и следа не оставалось того болезненного юноши, каким представлялся воображению наших отцов „Певец во стане русских воинов“; он стал осанистым, почти полным человеком. Лицо его, слегка припухлое, молочного цвета, без морщин, дышало спокойствием; он держал голову наклонно, как бы прислушиваясь и размышляя; тонкие, жидкие волосы всходили косицами на совсем почти лысый череп; тихая благодать светилась в углубленном взгляде его темных, на китайский лад приподнятых глаз, а на довольно крупных, но правильно очерченных губах постоянно присутствовала чуть заметная, но искренняя улыбка благоволения и привета. Полувосточное происхождение его (мать его была, как известно, турчанка) сказывалось во всем облике».

Пользуясь своим положением при дворе, Жуковский не мало помогал друзьям. По крайней мере, не раз добивался более мягкого отношения к Пушкину, хлопотал о больном К. Батюшкове, об освобождении от солдатчины Е. Баратынского, о выкупе из крепостной неволи Тараса Шевченко; крепостных крестьян из жалованных ему деревенок Жуковский, кстати, отпустил на волю. Уже с утра на лестнице, ведущей в квартиру поэта, толпились просители всякого рода и звания. Что же касается поэтической популярности, то она была столь велика, что в известном литературном обществе «Арзамас» каждый член обязательно принимал имя какого-нибудь героя его знаменитых баллад: Батюшков – Ахилл, сам Жуковский – Светлана, Вяземский – Асмодей, Блудов – Кассандра, А. Тургенев – Эолова арфа, и так далее.

«Жуковский был не только гробовых дел мастер, как мы прозвали его по балладам, – писал Вяземский, – но и шуточных и шутовских дел мастер. Странное физиологическое и психическое совпадение! По натуре идеальной, мечтательной, несколько мистической, в нем были и сокровища веселости, смешливости: в нем были зародыши и залого карикатуры и пародии, отличающиеся нередко острою замысловатостью». Будучи бессменным секретарем «Арзамаса», Жуковский вел протоколы, резко отличающиеся веселостью тона от всех других. «Его превосходительством мною прочитан был протокол предыдущего заседания, – так писал он, – краткий, но отличающийся тем необыкновенным остроумием, которым одарила меня благосклонная судьба, и члены, глядя на меня с умилением, радовались, что я им товарищ; а я не гордился нимало; напротив, с свойственною мне скромностью принимал их похвалы за одни выражения дружбы и удаивал друзей моих снисходительной и весьма лестной для них улыбкой. Его превосходительство я же был введен с церемонией в храмину заседания... Меня ввели, и все лица просияли... Я произнес клятву, потом сел или паче вдвинул в гостеприимные объятия стула ту часть моего тела, которая особенно нужна для сидения и которая в виде головы торчит на плечах халдеев „Беседы“ (враждебного „Арзамасу“ литературного общества). Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить одного беседного покойника. Члены отдали справедливость моему красноречию смехом и

шумными плесками. А почтенный президент Чу весьма удачно похвалил мои различные достоинства в краткой речи, в которой не забыл упомянуть и о моем друге месяце (часто воспеваемом в стихах Жуковского), за что я ему останусь весьма благодарен... Все это было заключено ужином... Гуся не было, и каждый член, погруженный в меланхолию, шептал про себя: Где гусь? – Он там! – Где там? – Не знаю!». – В приведенном здесь протоколе обыграны строки из стихотворения Державина, и особенности стихов самого Жуковского.

После путешествия с наследником царского трона по России, а затем по Европе (с мая 1838 по начало 1839 года), Жуковский вышел в отставку. Возложенные на него педагогические задачи были выполнены, наследник достиг совершеннолетия. В Германии, в 1841 году, Жуковский женился на дочери своего друга художника Рейтерна – Елизавете, которую знал еще ребенком. Брак этот не оказался счастливым: поселившись в Дюссельдорфе (теперь уже навсегда), Жуковский часто жаловался на тяжелую болезнь жены, на оторванность от друзей, на утрату зрения. Тем не менее, продолжал упорно работать. В последние годы он написал белыми стихами три сказки из собрания братьев Grimm – «Об Иване-Царевиче и сером волке», «Кот в сапогах» и «Тюльпанное дерево», перевел поэму Фирдоуси «Рустем и Зораб», «Одиссею» Гомера.

Умер 12 (24) апреля 1852 года в Баден-Бадене.

Прах поэта перевезен в Петербург; похоронен на кладбище Александро-Невской лавры рядом с Карамзиным.

Александр Сергеевич Пушкин

*Нет, я не дорожу мятежным наслаждением,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, вясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий.*

*О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняся на долгие моления,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься все боле, боле —
И делишь наконец мой пламень поневоле.*

Родился 26 (6. VI) мая 1799 года в Москве.

Отец – отставной майор Сергей Львович, из старинного рода.

«Родословная матери моей, – писал поэт, – еще любопытнее. Дед ее негр, сын владетельного князька. Русский посланник в Константинополе как-то достал его из своего сераля, где содержался он аманатом, и отослал его Петру Первому вместе с двумя другими арапчатами. Государь крестил маленького Ибрагима в Вильне, в 1707 году, с польскою королевою, супругой Августа, и дал ему фамилию Ганнибал. В крещении наименован он был Петром; но как он плакал и не хотел носить нового имени, то до самой смерти назывался Абрамом. Старший брат его приезжал в Петербург, предлагая за него выкуп. Но Петр оставил при себе своего крестника. До 1716 года Ганнибал находился неотлучно при особе государя, спал в его токарне, сопровождал его во всех походах; потом послан был в Париж, где несколько времени обучался в военном училище, вступил во французскую службу, во время испанской войны был в голову ранен в *одном подземном сражении* (сказано в рукописной его биографии) и возвратился в Париж, где долгое время жил в рассеянии большого света. Петр I неоднократно призывал его к себе, но Ганнибал не торопился, отговариваясь под разными предлогами. Наконец государь написал ему, что он неволить его не намерен, что предоставляет его доброй воле возвратиться в Россию или остаться во Франции, но что во всяком случае он никогда не оставит прежнего своего питомца. Тронутый Ганнибал немедленно отправился в Петербург. Государь выехал ему навстречу и благословил образом Петра и Павла, который хранился у его сыновей, но которого я не мог уж отыскать. Государь пожаловал Ганнибала в бомбардирскую роту Преображенского полка капитан-лейтенантом. Известно, что сам Петр был ее капитаном. Это было в 1722 году. После смерти Петра Великого судьба его переменилась. Меншиков, опасаясь его влияния на императора Петра II, нашел способ удалить его от двора. Ганнибал был переименован в майоры Тобольского гарнизона и послан в Сибирь с препоручением измерить Китайскую стену».

Сергей Львович увлекался литературой, в доме Пушкиных бывали Карамзин, Дмитриев, Жуковский. Дядя – Василий Львович – был известный поэт. Сына родители, к сожа-

лению, не любили. С малых лет он был сдан на руки няне Арине Родионовне, крепостной Пушкиных, отпущенной на волю, а когда подрос, под надзор гувернеров-французов.

В 1811 году Василий Львович при помощи влиятельных друзей (прежде всего А. И. Тургенева) устроил Пушкина в только что открывшийся Царскосельский лицей. Это учебное заведение находилось под особым покровительством императора Александра I и должно было готовить будущих государственных деятелей. Попасть в него было трудно, можно было надеяться только на протекцию, отсюда такой разброс: от аристократа Горчакова, ни в чем не знавшего нужды, до бедняка Кюхельбекера, за которого, правда, хлопотал его влиятельный родственник – главнокомандующий русской армией в Отечественную войну 1812 года фельдмаршал М. Б. Барклай-де-Толли.

Поведением юный лицеист не блистал. «Пушкин 6-го числа, – доносил надзиратель Пилецкий в ноябре 1812 года, – в суждении своем об уроках сказал: признаюсь, что я логики, право, не понимаю, да и многие даже лучшие меня оной не знают, потому что логические силлогизмы весьма для него невняты. – 16-го числа весьма оскорбительно шутил с Мясоедовым на щот 4 департамента, зная, что его отец там служит, произнося какие-то стихи, коих мне повторить не хотел, при увещании же сделал слабое признание, а раскаяния не видно было. – 18-го толкал Пушина и Мясоедова, повторяя им слова: что если они будут жаловаться, то сами останутся виноватыми, ибо я, говорит, вывертеться умею. В классе рисовальном называл г. Горчакова вольной польской дамой. – 23-го, когда я у г. Дельвига в классе г. профессора Гауэншильда отнимал бранное на г. инспектора сочинение, в то время г. Пушкин с непристойной вспыльчивостью говорит мне громко: „Как вы смеете брать наши бумаги – стало быть, и письма наши из ящика будете брать?“ Присутствие г. профессора, вероятно, удержало его от худшего еще поступка, ибо приметен был гнев его. – 30-го числа к вечеру г. профессору Кошанскому изъяснил какие-то дела петербургских модных лавок, я не слышал сам сего разговора, только пришел в то время, когда г. Кошанский сказал ему: я повыше вас, а, право, не вздумаю такого вздора, да и вряд ли кому оный придет в голову. Спрашивал я других воспитанников, но никто не мог его разговор повторить – по скромности, как видно».

В 1815 году в Царское Село возвратилась из заграничного похода гвардия, возглавляемая Александром I. Победоносная война создала особенную атмосферу в столице. На состоявшемся в том же году экзамене Пушкин восхитил Державина своими стихами «Воспоминания в Царском селе», но сам уже тянулся к Батюшкову, к Жуковскому, чему немало способствовало его участие в литературном обществе «Арзамас».

В начале июня 1817 года состоялся первый выпуск лицеистов. Пушкин вышел из лицея с чином коллежского секретаря, а те, кто преуспел больше – титулярного советника. Лето провел в селе Михайловском, затем вернулся в Петербург, где был определен в Коллегию иностранных дел, – с жалованьем 700 рублей в год. Круг знакомств Пушкина к этому времени чрезвычайно расширился. Веселье, молодое буйство кипело в его стихах, да и сам поэт производил впечатление. «В самой наружности его, – вспоминал один из друзей, – было много особенного: он то отпускал кудри до плеч, то держал в беспорядке свою курчавую голову; носил бакенбарды большие и всклокоченные; одевался небрежно; ходил скоро, повертывал тросточкой или хлыстиком, насвистывая или напевая песню».

В 1818 году Пушкин стал деятельным членом «Зеленой лампы», являвшейся как бы литературным отделением общества декабристов. В число декабристов Пушкин не был приглашен, однако эпиграммы его, а особенно ода «Вольность», попавшие на глаза Александру I, привели царя в гнев. Только заступничество поэтов Жуковского и Крылова, а затем губернатора Петербурга графа Милорадовича, позволило заменить суровую ссылку в Сибирь ссылкой на южную окраину России. Официально ссылку оформили как назначение на службу в Кишинев, и 6 мая 1820 года Пушкин выехал в распоряжение наместника Беса-

рабии генерала И. Н. Инзова. Уже после отъезда Пушкина вышла в свет поэма «Руслан и Людмила». С семьей генерала Н. Н. Раевского, в старшую дочь которого он был влюблен, поэт совершил поездку на Кавказ и Крым. «Моя Марина славная баба, – писал он Вяземскому, – настоящая Катерина Орлова. Не говори, однако, этого никому». В письмах и в беседах с друзьями увлекающийся поэт часто не щадил своих возлюбленных.

В южной ссылке Пушкин написал «Песнь о вещем Олеге», поэму «Кавказский пленник». За ними последовала поэма «Братья-разбойники», основанная, кстати, на действительном происшествии – побеге двух разбойников из кишиневской тюрьмы, и «Бахчисарайский фонтан». В июле 1823 года поэта перевели в Одессу под начальство новороссийского генерал-губернатора графа М. С. Воронцова. Известная эпиграмма Пушкина («*Полу-милорд, полу-купец, полу-мудрец, полу-невежда, полу-подлец, но есть надежда, что будет полный наконец.*») сильно, конечно, преувеличивала недостатки генерал-губернатора, решительно проявившего себя и на Кавказе, и в шведской войне, и в наполеоновских компаниях, и в войне турецкой. После Бородинского сражения, отправляясь на лечение (он был ранен в бою) в собственное имение, Воронцов пригласил с собой пятьдесят раненых офицеров и триста солдат. Покидая с оккупационным корпусом, которым он командовал, Францию, из личных средств оплатил долги всех офицеров. И этим вовсе не ограничивались его достоинства, крепко смешанные, впрочем, с холодностью, честолюбием, властью. Ни по службе, ни по чину, ни тем более по ссыльному своему положению Пушкин никак не мог претендовать на личное знакомство с Воронцовым, лишь столичные рекомендации позволили ему войти в круг генерал-губернатора. «Предания той эпохи упоминают о женщине (красавице Елизавете Ксавериевне, жене Воронцова), превосходившей всех других во власти, с которой управляла мыслию и существованием поэта. Пушкин нигде о ней не упоминает, как бы желая сохранить про одного себя тайну этой любви. Она обнаруживается у него только многочисленными профилями прекрасной женской головы спокойного, благородного, величавого типа, которые идут почти по всем его бумагам из одесского периода жизни».

Намеренно подчеркивая подневольное положение поэта, Воронцов не раз поручал ему дела, на взгляд самого Пушкина, оскорбительные. Например, отправлял в уезды собирать сведения о появившейся там саранче. Известен стихотворный отчет, поданный Пушкиным генерал-губернатору: «*Саранча летела, летела – и села. Сидела, сидела, всё съела и вновь улетела.*» Старому своему другу А. Тургеневу Пушкин писал: «Я устал зависеть от хорошего или дурного пищеварения начальника, мне надоело, что со мною в моем отечестве обращаются с меньшим уважением, чем с первым английским шалопаем. Воронцов – вандал, придворный хам и мелкий эгоист. Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думаю о себе что-то другое». Раздраженный поведением Пушкина Воронцов энергично потребовал его удаления из Одессы. Помог случай: в руки полиции попало письмо, в котором поэт отвергал бессмертие души и одобрял атеизм как «систему, более всего правдоподобную». Царь, когда ему донесли о письме, приказал уволить Пушкина со службы и отправить в новую ссылку, на этот раз в усадьбу отца – село Михайловское Псковской губернии.

На лето в Михайловском собралась вся семья, однако к осени Пушкин остался один. Здесь он продолжил работу над начатым в Одессе романом в стихах – «Евгений Онегин». «Соседей около меня мало, – писал он одному из друзей. – Я знаком только с одним семейством и то вижу его довольно редко. Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны; она – единственная моя подруга, и с нею только мне не скучно». Правда, в селе Тригорском в семье помещицы Осиповой Пушкина полюбили, а в январе 1825 года неожиданно посетил поэта его старый лицейский товарищ И. И. Пущин. В июне того же года Пушкин встретил в Тригорском Анну Керн; эта встреча подарила русской поэзии одно из самых совершенных ее творений – стихи «Я помню чудное мгновенье». Эта внезапно вспыхнувшая

любовь, впрочем, протекала на глазах Осиповых и Аннеты Вульф, которым вряд ли приятно было видеть влюбленного поэта, но самого Пушкина это остановить не могло.

В Михайловском усилился интерес Пушкина к истории. Он внимательно изучал работы Карамзина, исследовал материалы, касающиеся Пугачевского бунта, закончил трагедию «Борис Годунов». В декабре 1825 года размеренная жизнь поэта была нарушена известиями о восстании декабристов. Несколько месяцев поэт ждал изменений в своей судьбе, но только в ночь с 3 на 4 сентября 1826 года его вызвали в Москву. «Пушкину, – было сказано в предписании, подписанном Николаем I, – позволено ехать в своем экипаже, свободно, под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта». Прямо с дороги Пушкина доставили к царю. Известно, что на вопрос Николая I, где бы он находился 14 декабря, окажись он в Петербурге, поэт прямо ответил, что был бы с мятежниками на площади. Тем не менее, царь простил его, потребовав отказа от любой борьбы с правительством. «Пиши свободно, – сказал он Пушкину, – я сам буду твоим цензором».

В Москве Пушкин сразу вошел в круг старых друзей – Вяземского, Чаадаева, Баратынского, Веневитинова. «Он был небольшого роста, – вспоминал Пушкина писатель Н. И. Тарасенко-Отрешков, – сухощав, с курчавыми, весьма темно-русскими, почти черными волосами, с глазами темно-голубыми. В облике лица сохранялись еще черты африканского происхождения, но в легком уже напоянии. Даже во множестве нельзя было не заметить Пушкина: по уму в глазах, по выражению лица, высказывающему какую-то решимость характера, по едва ли унимаемой природной живости, какого-то внутреннего беспокойства, по проявлению с трудом сдерживаемых страстей. Таким, по крайней мере, казался мне Пушкин в последние годы своей жизни. К этому можно еще сказать, что также нельзя было не заметить невнимание Пушкина к своему платью и его покрою на больших балах. В обществе, сколько мне случалось его видеть, я всегда находил его весьма молчаливым, избегающим всякого высказывания. Неоднократно я слышал, как Пушкин, со свойственною ему откровенностью, говорил, что не читал многих из называемых ему даже весьма известных сочинений по части древних и новых философий, политики и истории. Зато при большой памяти, познания Пушкина собственно в произведениях словесности европейской и отечественной были обширны... Я помню, – добавлял Тарасенко-Отрешков, – как однажды Пушкин говорил мне, что он терпеть не может, когда просят у него не на водку, а на чай. При чем не мог скрыть своего легкого неудовольствия, когда я сказал, что распространяющийся в наших сословиях народа обычай пить чай благодетелен для нравственности и что нельзя этому не радоваться. „Но пить чай, – возразил Пушкин с живостью, – не русский обычай!“.

Что из себя представляет личная царская цензура, поэт понял, когда ему вернули рукопись трагедии «Борис Годунов», на которой Николай I начертил: «Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если бы с нужным очищением переделал комедию свою в историческую повесть или роман, наподобие Вальтера Скотта».

В 1827 году Пушкин начал работать над романом «Арап Петра Великого», в 1828 году закончил поэму «Полтава». Но в том же году до Николая I дошел список «Гавририады», – поэмы, признанной нечестивой. Пушкин пытался оправдаться перед царем, но вновь был отдан под надзор полиции. Напрасно поэт просил разрешения вступить добровольцем в русскую армию, действовавшую в то время против турок. Просьба его была отклонена, так же, как и просьба выехать за границу. «Государь-император не удостоил снизойти на Вашу просьбу, – ответил Пушкину начальник III отделения граф А. Х. Бенкендорф, – полагая, что это слишком расстроит Ваши денежные дела и в то же время отвлечет Вас от ваших занятий».

В апреле 1829 года Пушкин сделал предложение признанной московской красавице Наталье Николаевне Гончаровой, но не получил определенного ответа. Удрученный поэт, даже не испросив официального разрешения, уехал на Кавказ, где принял участие в походе

русской армии на Арзрум. «Спросите, – зачем? – писал он матери Натальи Николаевны. – Клянусь, сам не умею сказать; но тоска произвольная гнала меня из Москвы; я бы не мог в ней вынести присутствия вашего и ее». Эта поездка вызвала новое неудовольствие властей, пришлось объясняться с графом А. Х. Бенкендорфом. А журналист Ф. Булгарин в «Северной пчеле» возвращение Пушкина отметил по-своему. «Мы думали, – писал он, – что автор Руслана и Людмилы устремился на Кавказ, чтобы напитаться высокими чувствами поэзии, обогатиться новыми впечатлениями и в сладких песнях передать потомству великие подвиги русских современных героев. Мы думали, что великие события на Востоке, удивившие мир и стяжавшие России уважение всех просвещенных народов, возбудят гений наших поэтов, – и мы ошиблись. Лиры знаменитые остались безмолвными, а в пустыне нашей поэзии появился опять Онегин, бледный, слабый... Сердцу больно, когда взглянешь на эту бесплодную картину...»

Выгодно продав собрание сочинений, Пушкин несколько поправил свои материальные дела. В мае 1830 года мать Н. Н. Гончаровой дала согласие на брак Пушкина с дочерью, а отец поэта по случаю предстоявшей женитьбы выделил ему двести незаложенных крестьянских душ из своих нижегородских поместий. Для устройства имущественных дел Пушкин в начале осени выехал в село Болдино.

«Милый мой, – писал он П. А. Плетневу, – расскажу тебе все, что у меня на душе: грустно, тоска, тоска. Дела будущей тещи моей расстроены. Свадьба моя отлагается день ото дня далее. Между тем, я хладею, думая о заботах женатого человека, о прелести холостяцкой жизни. К тому же московские сплетни (связанные с прежними многочисленными любовными похождениями поэта) доходят до ушей невесты и ее матери, – отседе размовки, колкие обиняки, ненадежные примирения, – словом, если я не несчастлив, по крайней мере не счастлив. Осень подходит. Еду в деревню. Бог весть, буду ли там иметь время заниматься и душевное спокойствие... Так-то, душа моя... Чорт меня догадал бредить о счастии, как будто я для него создан. Должно было мне довольствоваться независимостью».

В Болдино Пушкину пришлось провести гораздо больше времени, чем он предполагал, потому что в крае началась холера и на дорогах были выставлены карантинные посты. Это чрезвычайно мучило Пушкина, зато в эту осень (вошедшую в историю русской литературы как *болдинская*) он закончил роман «Евгений Онегин», написал маленькие трагедии – «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери», «Каменный гость» и «Пир во время чумы», «Сказку о попе и о работнике его Балде», «Повести Белкина», «Историю села Горюхина».

«В душе была усталость от беспутной холостой жизни, жажда тишины, семейного уюта, – писал Вересаев, – поворачивать было поздно. И Пушкин как зачарованный шел к роковой цели. За неделю до свадьбы он писал другу: „Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. „Счастье – только на избитых тропах“. Мне за тридцать лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся, – я поступаю, как люди, и вероятно не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей. Горести не удивят меня: они входили в мои домашние расчеты. Всякая радость будет мне неожиданностью“. Последние недели перед свадьбой в душе Пушкина была большая грусть и большая тоска. У друга его Нащокина как-то собрались цыганки, пели. Пушкин попросил цыганку Таню спеть ему что-нибудь на счастье; но у той было свое сердечное горе, она не подумала и спела грустную песню, и в пение вложила всю свою печаль. Пушкин схватился рукой за голову и зарыдал. И сказал: „Ах, эта ее песня все во мне перевернула, она мне не радость, а большую потерю предвещает!“ И уехал, ни с кем не простившись...»

18 февраля 1831 года произошла свадьба в церкви Большого Вознесения на Большой Никитской. Пушкин, в противоположность последним дням, был очень радостен, смеялся, был любезен с друзьями. Но во время обряда, при обмене колец, кольцо Пушкина упало на пол. Потом у него потухла свечка. Он побледнел и сказал: «Все – плохие предзнаменования!» Вечером был большой свадебный ужин в новонанятой квартире Пушкина на Арбате. А на следующий день Пушкин встал с постели – да так весь день жены и не видел. К нему пришли приятели, он с ними заговорился, забыл про жену и пришел к ней только к обеду. Она очутилась одна в чужом доме и заливалась слезами...»

В мае 1832 года у Пушкиных родилась дочь Мария, в последующие годы – сыновья Александр и Григорий, дочь Наталья. В доме с Пушкиными жили незамужние сестры Наталья Николаевна – Александрина и Екатерина. Расходы сильно возросли. Светская жизнь требовала средств. Служба в Государственной коллегии иностранных дел давала Пушкину 5000 рублей в год, но этой суммы было недостаточно. Случалось, что Пушкин закладывал в ломбард старую шаль, чтобы уплатить срочный долг. К концу жизни долги поэта составили огромную по тем временам сумму – более 80 000 рублей. Даже морошка, которую давали умирающему Пушкину, судя по записи торговца, была взята в долг.

В 1832 году Пушкин закончил роман «Дубровский» и вплотную занялся «Историей Пугачева». В конце лета, получив на то разрешение, он объехал места, охваченные когда-то Пугачевским восстанием, посетил Казань, Оренбург, знаменитую Бердскую слободу. В 1834 году труд вышел в свет под названием, подсказанным Николаем I – «История Пугачевского бунта». Как некое его продолжение появился осенью 1836 года и роман «Капитанская дочка», надолго определивший интонацию русской прозы.

Накануне нового 1834 года Пушкин записал в дневнике: «Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Но двору хотелось, чтобы Наталья Николаевна танцевала в Аничкове... Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным, – а по мне хоть в камер-пажи, только б не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике». Тем не менее, поэт был уязвлен и через некоторое время подал в отставку. Правда, Жуковский сумел уговорить Пушкина взять свое прошение обратно, поскольку Николай I пригрозил в случае отставки запретить поэту работу с архивом.

В 1835 году Пушкин получил разрешение на издание журнала «Современник»; первая книга журнала вышла уже в апреле 1836 года.

Постоянная зависимость от властей тяготила поэта. Даже близкие друзья – Карамзины, Вяземский, Жуковский, чувствуя нарастающее нерасположение царя к Пушкину, начали отходить от него. К тому же, вышедший к этому времени роман «Евгений Онегин» не вызвал особенного интереса критики. О романе писали, что он «есть собрание отдельных, бессвязных заметок и мыслей о том, о сем, вставленных в одну раму, из которых автор не составит ничего, имеющего свое отдельное значение». И даже так: «Те, кои думали видеть в мыльных пузырях, пускаемых затейливым воображением Пушкина, роскошные огни высокой поэтической фантазмагии, наконец должны признать себя жалко обманувшимися».

Давили на поэта и семейные неурядицы. Больше всего в это время ему хотелось перебраться в деревню, но этого категорически не желала Наталья Николаевна. «Главное несчастье Пушкина заключалось в том, что он жил в Петербурге и жил светской жизнью, его убившей, – писал граф В. А. Сологуб. – Пушкин находился в среде, над которой не мог не чувствовать своего превосходства, а между тем в то же время чувствовал себя почти постоянно униженным и по достатку и по значению в этой аристократической сфере, к которой он имел какое-то непостижимое пристрастие. Когда при разъездах кричали: „Карету Пушкина! – Какого Пушкина? – Сочинителя!“ – Пушкин обижался, конечно не за название, а за то пренебрежение, которое оказывалось к названию. В свете его не любили, потому что боя-

лись его эпиграмм, на которые он не скупился, и за них он нажил себе в целых семействах, в целых партиях врагов непримиримых».

Нарастающую мрачность поэта отметил и Н. В. Гоголь. «Когда я начал читать Пушкину первые главы из „Мертвых душ“, в том виде, как они были прежде, – писал он, – то Пушкин, который всегда смеялся при моем чтении (он же был охотник до смеха), начал понемногу становиться все сумрачнее, сумрачнее, а наконец сделался совершенно мрачен. Когда же чтение кончилось, он произнес голосом тоски: „Боже, как грустна наша Россия!“ Меня это изумило. Пушкин, который так знал Россию, не заметил, что все это карикатура и моя собственная выдумка!»

В 1834 году в Петербург приехал француз Жорж Дантес, приемный сын нидерландского посланника барона Геккерена. Благодаря связям, он принят был сразу офицером в кавалергардский полк и быстро занял заметное положение в свете. Живость и остроумие Дантеса нравились Пушкину, француз стал бывать в доме, однако Дантес позволил себе влюбиться в Наталью Николаевну, сплетни поползли по Петербургу, а 4 ноября 1836 года Пушкин получил некий анонимный «диплом» следующего содержания: «Великие кавалеры, командоры и рыцари светлейшего Ордена Рогоносцев в полном собрании своем, под председательством великого магистра Ордена, его превосходительства Д. Н. Нарышкина, единогласно выбрали Александра Пушкина заместителем великого магистра Ордена Рогоносцев и историографом ордена». Такие же письма получили многие знакомые Пушкина, в том числе упомянутый в письме Нарышкин, муж красавицы Марии Антоновны, находившейся в долготелней связи с императором Александром I. Заподозрив в случившемся козни барона Геккерена, Пушкин вызвал на дуэль Дантеса, приемного его сына, поскольку вызвать на поединок самого официального посланника не мог. Впрочем, Дантес избежал дуэли, срочно устроив свой брак с сестрой Натальи Николаевны – Екатериной. При этом своих ухаживаний за Натальей Николаевной он не оставил.

«Не в каждом начале уже заложен конец, – писала Н. Берберова в известной книге „Курсив мой“, – а главное, не всегда его можно увидеть, иногда он спрятан слишком хорошо. Смотря назад, в XIX век, видишь, что и смерть Пушкина, и смерть Льва Толстого (и Лермонтова), так похожие на самоубийства, тоже были заложены в их судьбе. Если бы Толстой ушел из дому сразу после „Исповеди“, он умер бы свободным человеком, изжив свою морализирующую религию. Если бы Пушкин ушел от жены, и двора, и Бенкендорфа, ему не пришлось бы искать смерти. Оба стали жертвами своей аберрации – Толстой стал жертвой своей дихотомии, Пушкин стал ясен только теперь, после опубликования Геккереновского архива: стало известно, наконец, что Наталья Николаевна не любила его, а любила Дантеса. На „пламени“, разделенном „поневоле“, Пушкин строил свою жизнь, не подозревая, что такой пламень не есть истинный пламень и что в его время уже не может быть верности только потому, что женщина кому-то „отдана“. Пушкин кончил свою жизнь из-за женщины, не понимая, что такое женщина, а уж он ли не знал ее! Татьяна Ларина жестоко отомстила ему».

«Пушкина мне удалось видеть всего еще один раз, – вспоминал И. С. Тургенев, – за несколько дней до его смерти, на утреннем концерте в зале Энгельгардт. Он стоял у двери, опираясь на косяк и, скрестив руки на широкой груди, с недовольным видом посматривал кругом. Помню его смуглое небольшое лицо, его африканские губы, оскал белых крупных зубов, висячие бакенбарды, темные желчные глаза под высоким лбом почти без бровей – и кудрявые волосы. Он и на меня бросил беглый взгляд; бесцеремонное внимание, с которым я уставился на него, произвело, должно быть, на него впечатление неприятное: он словно с досадой повел плечом – вообще он казался не в духе – и отошел в сторону».

26 января 1837 года Пушкин отправил барону Геккерену в высшей степени оскорбительное письмо. «...Вы, представитель коронованной главы, – писал он, – вы отечески служили сводником вашему сыну. По-видимому, всем его поведением (довольно, впрочем,

неловким) руководили вы. Вы, вероятно, внушали ему нелепости, которые он брался излагать письменно. Подобно старой развратнице, вы подстерегали мою жену во всех углах, чтоб говорить ей о любви вашего незаконнорожденного или так называемого сына; и когда, больной сифилисом, он оставался дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней».

27 января 1837 года, стреляясь с Дантесом вблизи Черной речки, поэт был смертельно ранен. Он упал на шинель, брошенную на снег для указания барьера, секунданты бросились к нему, то же хотел сделать и Дантес, но Пушкин жестом остановил его. «Я чувствую достаточно сил, – сказал он по-французски, – чтобы сделать свой выстрел». На коленях, полулежа, он прицелился и выстрелил, – пуля пробила Дантесу правую руку и попала в пуговицу. «Убил я его?» – спросил Пушкин. Д'Аршиак, секундант, ответил: «Нет, вы его ранили». – «Странно, – сказал Пушкин. – Я думал, что мне доставит удовольствие его убить, но я чувствую теперь, что нет... Впрочем, все равно... Как только мы поправимся, снова начнем...»

Ночь и следующий день прошли в мучениях. У постели умирающего сошлись друзья поэта – Жуковский, Вяземский, Данзас, А. И. Тургенев. У дома постоянно толпились люди, прослышавшие про трагическую дуэль. 29 января 1837 года в 2 часа 45 минут дня Пушкин скончался. Опасаясь невольных волнений, Николай I приказал отправить прах поэта в Михайловское тайно, ночью, в сопровождении жандарма. Что же касается семьи поэта, то в специальной «Записке о милостях» царь указал: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пансион и дочери по замужеству. 4. Сыновей в пажи и по 1500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т».

Евгений Абрамович Баратынский (Баратынский)

Родился 19 (2. III) февраля 1800 года в имении Мара Кирсановского уезда Тамбовской губернии.

Отец, генерал-адъютант, умер, когда мальчику исполнилось десять лет. Воспитывался матерью и «дядькой-итальянцем» Джачинто Боргезе. В декабре 1812 года, окончив частный пансион в Петербурге, поступил в Пажеский корпус – одно из привилегированных военно-учебных заведений того времени. Больше всего любил авантюрные и приключенческие книги. «Глориозо Ринальди-Ринальдини и в особенности Шиллеров Карл Моор разгорячали мое воображение. Разбойничья жизнь казалась для меня завиднейшею в свете, и, природно беспокойный и предприимчивый, я задумал составить общество мстителей, имевшее целью сколько возможно мучить наших начальников».

Шалости малолетних «мстителей», как того и следовало ожидать, не привели к добру. В феврале 1816 года сын камергера Приклонского передал Баратынскому и еще одному своему приятелю ключ, подобранный к отцовскому бюро, откуда мальчики вынули черепаховую табакерку и 500 рублей. Деньги были быстро прокатаны на извозчике и проедены на пирожках и пирожных, затем дело вскрылось. По личному распоряжению царя за «негодное поведение» Баратынский был изгнан из корпуса со строжайшим запрещением поступать на любую службу, кроме военной, да и то рядовым. «Этот случай принадлежит к тем случаям моей жизни, – писал поэт в 1823 году Жуковскому, – на которых я мог бы основать систему предопределения... Я сто раз готов был лишиться себя жизни... Здоровье мое не выдержало сих душевных движений: я впал в жестокую нервическую горячку, и едва успели призвать меня к жизни...»

Почти три года Баратынский безвыездно провел в имении своего дяди – в селе Подвойском Смоленской губернии, надеясь на высочайшее прощение, но прощения не последовало. В 1818 году Баратынский вернулся в Петербург. Дельвиг ввел его в круг столичных литераторов, познакомил с Пушкиным, стихи поэта начали появляться в журналах, однако осенью того года Баратынский вынужден был все же поступить на военную службу – рядовым в лейб-гвардии Егерский полк. «Не служба моя, к которой я привык, меня угнетает, – писал он уже из полка одному из друзей. – Меня мучит противоречие моего положения. Я не принадлежу ни к какому сословию, хотя имею какое-то звание. Ничьи надежды, ничьи наслаждения мне не приличны».

В 1820 году Баратынского перевели в Нейшлотский пехотный полк, расквартированный в Финляндии. Здесь он провел почти пять лет, правда, свобода его уже не была так стеснена, как прежде, – по крайней мере, он довольно часто приезжал в Петербург. «Мы помним Баратынского в 1821 г., – писал О. Сенковский, – когда изредка являлся он среди дружеского круга, гнетомый своим несчастьем, мрачный и грустный, с бледным лицом, где ранняя скорбь провела уже глубокие следы испытанного им. Казалось, среди самой веселой дружеской беседы, увлекаемый примером других, Баратынский говорил сам себе, как говорил в стихах своих: *«Мне мнится, счастлив я ошибкой, и не к лицу веселье мне...»* Друзья продолжали хлопотать о судьбе Баратынского, но только в 1824 году генерал-губернатор Финляндии А. А. Закревский (по просьбе героя Отечественной войны 1812 года Дениса Давыдова), перевел опального поэта в свой штаб, находившийся в Гельсингфорсе, а весной 1825 года представил к офицерскому чину, получение которого позволило Баратынскому выйти в отставку. Он уехал в Москву, там выгодно женился на дочери генерал-майора Энгельгардта – Анастасии Львовне, богатой наследнице. Но в свете Баратынские бывали крайне редко. Отец Пушкина Сергей Львович писал: «Видим Баратынского в Москве очень часто: не зная бессонных ночей на балах и раутах, Баратынские ведут жизнь самую простую: встают в

семь утра во всякое время года, обедают в полдень, отходят ко сну в девять часов вечера и никогда не выступают из этой рамки, что не мешает им быть всем довольными, спокойными, следовательно – счастливыми».

Подолгу жил Баратынский в поместье Мураново, где дом был поставлен по его проекту. «Мой дед проявлял живейший интерес к земледелию, садоводству, огородничеству, занимался устройством лесопилки у себя в деревне», – писала позже его внучка Н. А. Обухова. В 1826 году Пушкин весьма похвально отозвался о вышедшей из печати стихотворной «финляндской повести» Баратынского «Эда»: «Что за прелесть эта Эда! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт – всякий говорит по-своему. Перечтите сию простую восхитительную повесть, вы увидите, с какою глубиною чувств развита в ней женская любовь». И дальше: «Баратынский принадлежит к числу отличных наших поэтов. Он у нас оригинален – ибо мыслит. Он был бы оригинален и везде, ибо мыслит по-своему, правильно и независимо, между тем чувствует сильно и глубоко. Никогда не старался он малодушно угождать господствующему вкусу и требованиям мгновенной моды. Он шел своей дорогой один и независим». И еще писал Пушкин в письме к П. Вяземскому: «Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдет и Парни и Батюшкова. Оставим ему все эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону, а то спасенья нет».

В 1827 году вышел в свет отдельный сборник стихов Баратынского, в 1828 году появилась поэма «Бал» (в одной книжке с повестью Пушкина «Граф Нулин»), в 1831 году – «Наложница», а в 1835 – второе, дополненное и переработанное издание стихотворений. Огорченный закрытием журнала «Европеец», Баратынский писал в 1832 году И. Киреевскому: «От запрещения твоего журнала не могу опомниться. Что после этого можно предпринять в литературе? Я вместе с тобой лишился сильного побуждения к трудам словесным. Запрещение твоего журнала просто наводит на меня хандру и, судя по письму твоему, и на тебя навело меланхолию. Что делать! Будем мыслить в молчании и оставим литературное поприще Полевым и Булгариным». И напомнил при этом: «Виланд, кажется, говорил, что ежели б он жил на необитаемом острове, он с таким же тщанием отделял бы свои стихи, как в кругу любителей литературы. Надобно нам доказать, что Виланд говорил от сердца. Россия для нас необитаема, и наш бескорыстный труд докажет высокую моральность мышления».

В 1842 году вышел последний прижизненный сборник стихов Баратынского – «Сумерки». А осенью следующего года поэт с двумя старшими детьми отправился в большое путешествие по Европе. Он побывал в Германии, во Франции. В Париже он виделся с декабристом-эмигрантом Н. И. Тургеневым, с Н. П. Огаревым, познакомился с Ламартином, Альфредом де Виньи, Проспером Мериме, Сент-Бевом. «Я очень наслаждаюсь путешествием, – писал он домой, – и быстрой сменой впечатлений. Железные дороги чудная вещь: это апофеоз рассеяния. Когда они обогнут всю землю, на земле не будет меланхолии». В апреле 1844 года Баратынские через Марсель отправились в Италию, любимую Баратынским с детства, благодаря воспитывавшему его «дядьке-итальянцу». *«Много земель я оставил за мною; вынес я много мятежной душою радостей ложных, истинных зол: много мятежных решил я вопросов прежде, чем руки марсельских матросов подняли якорь, надежды символ».*

29 июня 1844 года, находясь в Неаполе, Баратынский скорпостижно скончался. Тело поэта в кипарисовом гробу перевезли на родину и похоронили в Александро-Невской лавре.

Михаил Юрьевич Лермонтов

*Нет, я не Байрон, я другой,
Еще неведомый избранник,
Как он, гонимый миром странник,
Но только с русскою душой.
Я раньше начал, кончу ране,
Мой ум немного совершит,
В душе моей, как в океане,
Надежд разбитых груз лежит.
Кто может, океан угрюмый,
Твои изведать тайны? Кто
Толпе мои расскажет думы?
Я – или Бог – или никто!*

Родился 3 (15) октября 1814 года в Москве.

Детские годы провел в имении бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой в Тарханах (Пензенская губерния). Мать – Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, умерла в 1817 году от чахотки, хотя ходили слухи о добровольном ее отказе от жизни; с отцом тоже были связаны некие тайны: в 1811 году капитан Юрий Петрович Лермонтов вынужден был срочно оставить службу, одни говорили о картах, о нечестной игре, другие – о связи с неким тайным обществом. Распря между отцом и бабушкой, кто будет воспитывать ребенка, кончилась тем, что Юрий Петрович навсегда уступил это право бабушке. Богатой Арсеньева себя не считала, но на образование внука деньги у нее находились. Языкам Мишель обучался у немки Христины Ремер и у француза-гувернера Капе, в прошлом сержанта наполеоновской армии. Мальчик рос забалованным, своенравным, вспыльчивым, полным странных фантазий. «Я рожден, чтобы целый мир был зритель торжества или гибели моей», – заявил он однажды. К тому же, природа не наделила его здоровьем; трижды – в 1818, 1820 и 1825 годах – бабушка возила его на Северный Кавказ лечить минеральными водами.

«Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея десять лет от роду? – писал поэт в 1830 году. – Мы были большим семейством на водах кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет девяти. Я ее видел там. Я не помню, хороша собою была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей; он мне любезен, сам не знаю почему. Один раз, я помню, я вбежал в комнату; она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сердце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об чем еще не имел понятия, тем не менее это была страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истинная любовь: с тех пор я еще не любил так. О! сия минута первого беспокойства страстей до могилы будет терзать мой ум! И так рано! Надо мной смеялись и дразнили, ибо примечали волнение в лице. Я плакал потихоньку без причины, желал ее видеть; а когда она приходила, я не хотел или стыдился войти в комнату... Белокурые волосы, голубые глаза, быстрые, непринужденность – нет, с тех пор я ничего подобного не видал... Горы кавказские для меня священны...»

Осенью 1827 года Арсеньевы переехали в Москву.

Историк и литератор А. З. Зиновьев и опытный педагог англичанин Виндсон превосходно подготовили Лермонтова к экзаменам: он сразу был зачислен в четвертый класс Университетского благородного пансиона. В библиотеке в то время по вечерам собирались члены литературного общества, которым руководил довольно известный поэт С. Е. Раич.

Здесь Лермонтов увлекся рисованием и музыкой, хотя главным его увлечением уже тогда была поэзия. Трудно поверить, но уже в пансионе он набросал первый вариант поэмы «Демон», написал поэмы «Черкесы» и «Кавказский пленник».

Стать лучшим учеником мешал Лермонтову скверный характер. Однажды на экзамене был задан вопрос, на который воспитанник начал отвечать не совсем то, чего от него ждали. «Я вам этого не читал, – довольно резко прервал Лермонтова профессор. – И желал бы, чтобы вы отвечали мне именно то, чему я вас учил». – «Это правда, господин профессор, – ответил Лермонтов. – Того, что я вам сейчас говорю, вы нам не читали и не могли читать, потому что это слишком ново и до вас еще не дошло. Я ведь пользуюсь источниками из своей собственной библиотеки, снабженной всем современным».

В марте 1830 года в Университетском благородном пансионе побывал царь Николай I. Он остался недоволен независимостью воспитанников. В результате последовал высочайший указ о преобразовании пансиона в казенную гимназию. Как многие воспитанники, Лермонтов не захотел продолжать образование в гимназии и получил свидетельство о том, что он «обучался в старшем отделении высшего класса разным языкам, искусствам и преподаваемым в оном нравственным, математическим и словесным наукам, с отличным прилежанием, похвальным поведением и с весьма хорошими успехами». Образование Лермонтов решил продолжить за границей, но этому категорически воспротивилась бабушка и он вынужден был подчиниться.

В 1830 году с Поволжья к Москве подступила холера. Занятия в Московском университете, куда поступил Лермонтов, на время прекратились. В стихах Лермонтова той поры часты всяческие упоминания смерти, народных бедствий, чумы и холеры. Только в январе 1831 года занятия в университете были возобновлены, но к этому времени Лермонтов к учебе сильно охладел, он был полностью занят сочинением поэмы «Измаил-Бей». В итоге ему посоветовали подать заявление об уходе, и в августе 1832 года поэт уехал в Петербург. Но в Петербургском университете Лермонтову отказались зачесть предметы, сданные в Москве. Не имея желаний начинать учебу заново, в ноябре 1832 года Лермонтов, поборов сопротивление бабушки, поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. «До сих пор я жил для литературной карьеры, принес столько жертв своему неблагодарному кумиру, и вот теперь я – воин, – писал он в письме к своей знакомой. – Быть может, это особенная воля Провидения; быть может, это путь кратчайший, и если он не ведет меня к моей первой цели, может быть приведет к последней цели всего существующего: умереть с пулей в груди – это стоит медленной агонии старика. Итак, если начнется война, клянусь Вам богом, что всегда буду впереди».

Светская красавица Вера Бухарина оставила впечатляющий портрет Лермонтова того времени. «Он, – писала Бухарина, – кончил учение в пансионе при Московском университете и, к большому отчаянию бабушки, упорно хочет стать военным и поступил в кавалерийскую школу подпрапорщиков. Однажды к нам приходит старая тетушка Арсеньева вся в слезах. „Батюшка мой, Николай Николаевич! – говорит она моему мужу. – Миша мой болен и лежит в лазарете школы гвардейских подпрапорщиков!“ Этот избалованный Миша был предметом обожания бедной бабушки, он последний и единственный отпрыск многочисленной семьи, которую бедная старуха видит угасающей постепенно. Она испытала несчастье потерять всех своих детей одного за другим. Ее младшая дочь мадам Лермонтова умерла последней в очень молодых годах, оставив единственного сына, который потому-то и превратился в предмет всей нежности и заботы бедной старушки. Она перенесла на него всю материнскую любовь и привязанность, какие были у нее к своим детям. Мой муж обещал доброй почтенной тетушке немедленно навестить больного юношу в госпитале школы гвардейских подпрапорщиков и поручить его заботам врача.

Корпус школы подпрапорщиков находился тогда возле Синего моста; позднее его перевели в другое место. А громадное здание, переделанное снизу доверху, стало дворцом великой княгини Марии Николаевны. Мы отправились туда в тот же день на санях. В первый раз я видела будущего великого поэта Лермонтова. Должна признаться, он мне совсем не понравился. У него был злой и угрюмый вид, его небольшие черные глаза сверкали мрачным огнем, взгляд был таким же недобрый, как и улыбка. Он был мал ростом, коренаст и некрасив, но не так изысканно и очаровательно некрасив, как Пушкин, а некрасив очень грубо и несколько даже неблагородно. Мы нашли его не прикованным к постели, а лежащим на койке и прикрытом солдатской шинелью. В таком положении он рисовал и не соблаговолит при нашем приближении подняться. Он был окружен молодыми людьми, и, думаю, ради этой публики он и был так мрачен по отношению к нам, пришедшим его навестить. Мой муж обратился к нему со словами приветия и представил ему новую кузину. Он смерил меня с головы до ног уверенным и недоброжелательным взглядом. Он был желчным и нервным и имел вид злого ребенка, избалованного, наполненного собой, упрямого и неприятного до последней степени...»

И дальше: «Я видела его еще только один раз в Москве, если не ошибаюсь, в 1839 году; он уже написал своего „Героя нашего времени“, где в лице Печорина изобразил самого себя. На этот раз мы разговаривали довольно долго и танцевали контрданс на балу у Базилевских (мадам Базилевская, рожденная Грессер). Он приехал с Кавказа и носил пехотную армейскую форму. Выражение лица его не изменилось – тот же мрачный взгляд, та же язвительная улыбка. Когда он, небольшого роста и коренастый, танцевал, он напоминал армейского офицера, как изображают его в „Горе от ума“ в сцене бала. У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться оттого, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастье. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой коренастой фигуре карлика. Больше я его не видела и была очень потрясена его смертью, ибо малая симпатия к нему самому не мешала мне почувствовать сердцем его удивительную поэзию и его настоящую ценность. Я знала того, кто имел несчастье его убить, – незначительного молодого человека, которого Лермонтов безжалостно изводил... Ожесточенный непереносимыми насмешками, он вызвал его на дуэль и лишил Россию ее поэта, лучшего после Пушкина...»

Кстати, сам Лермонтов не раз говорил, что судьба послала ему «общую армейскую наружность»

22 ноября 1834 года Лермонтов был произведен в офицеры и выпущен в лейб-гвардии гусарский полк, стоявший в Царском Селе. Впрочем, там он появлялся только на дежурствах, – все основное время занимала жизнь в свете. Когда вечером 27 января 1837 года по Петербургу разнеслась весть о том, что Пушкин стрелялся на дуэли и смертельно ранен, Лермонтов написал стихи, которые чрезвычайно быстро распространились в сотнях списках по всему Петербургу. Разгневанный царь приказал немедленно перевести Лермонтова из гвардии в Нижегородский драгунский полк, стоявший на Кавказе. В итоге почти весь год Лермонтов провел в переездах. К месту назначения он не слишком торопился, предпочитая проводить время в Пятигорске среди столичных жителей, приехавших туда на воды. Только в сентябре через Ставрополь и укрепление Ольгинское Лермонтов добрался до Тамани, чтобы морем плыть в Геленджик, – в отряд генерала Вельяминова. Да и там поэт «странствовал, одетый по-черкесски, с ружьем за плечами; ночевал в чистом поле, засыпал под крик шакалов». Одно время он собирался ехать в Персию, потом в Мекку, потом собирался пойти в Хивинский поход с Перовским, – но судьба его вдруг изменилась. В Дидубе (под Тифлисом) делая смотр войсковым частям Кавказского корпуса, в который входили и четыре эскадрона Нижегородского полка, прибывший на Кавказ царь Николай I нашел их в особенно хорошем состоянии, что, разумеется, ему понравилось. Благодаря хорошему настроению царя

и многочисленным энергичным хлопотам старой Арсеньевой и поэта Жуковского, Лермонтова перевели в Гродненский гусарский полк, стоявший неподалеку от Новгорода. Но и в казармах Гродненского полка Лермонтов не задержался: в апреле 1838 года по ходатайству все той же любящей и неутомимой бабушки его перевели в лейб-гвардии гусарский полк.

«В течение месяца, – писал Лермонтов в письме, уже из Петербурга, – на меня была мода, меня наперерыв отбивали друг у друга. Весь этот народ, которому доставалось от меня в моих стихах, старается осыпать меня лестью. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у меня стихов и хвастаются ими, как триумфом. Тем не менее, я скучаю. Было время, когда я, в качестве новичка, искал доступа в это общество; это мне не удалось: двери аристократических салонов закрылись предо мной; а теперь в это же самое общество я вхожу уже не как искатель, а как человек, добившийся своих прав. Я возбуждаю любопытство, передо мной заискивают. Меня всюду приглашают, а я и вида не подаю, что хочу этого. Согласитесь, что все это может опьянять; к счастью, моя природная лень берет верх, и мало-помалу я начинаю находить все это несносным».

В «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» появилась «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», затем вышел сборник «Стихотворения М. Лермонтова». Поэт всерьез начал подумывать об отставке, чтобы заняться литературной деятельностью. Однако, жизнь продолжал вести рассеянную. «У княгини Ш., – вспоминал И. С. Тургенев, – я, весьма редкий и непривычный посетитель светских вечеров, лишь издали, из уголка, куда я забился, наблюдал за быстро вошедшим в славу поэтом. Он поместился на низком табурете перед диваном, на котором, одетая в черное платье, сидела одна из тогдашних столичных красавиц, белокурая графиня М. П. – рано погибшее, действительно прелестное создание. На Лермонтове был мундир лейб-гвардии гусарского полка; он не снял ни сабли, ни перчаток – и, сгорбившись и насупившись, угрюмо посматривал на графиню. Она мало с ним разговаривала и чаще обращалась к сидевшему рядом с ним графу Ш., тоже гусару. В наружности Лермонтова было что-то зловещее и трагическое; какой-то сумрачной и недоброй силой, задумчивой презрительностью и страстью веяло от его смуглого лица, от его больших и неподвижно-темных глаз. Их тяжелый взор странно не согласовывался с выражением почти детски нежных и выдававшихся губ. Вся его фигура, приземистая, кривоногая, с большой головой на сутулых широких плечах возбуждала ощущение неприятное; но присущую мощь тотчас сознавал всякий. Известно, что он до некоторой степени изобразил самого себя в Печорине. Слова: „Глаза его не смеялись, когда он смеялся“ и т. д. – действительно, применялись к нему. Помнится, граф Ш. и его собеседница внезапно засмеялись чему-то и смеялись долго; Лермонтов тоже засмеялся, но в то же время с каким-то обидным удивлением оглядывал их обоих. Несмотря на это, мне все-таки казалось, что и графа Ш. он любил как товарища, и к графине питал чувство дружелюбное. Не было сомнения, что он, следуя тогдашней моде, напустил на себя известного рода байроновский жанр, с примесью других, еще худших капризов и чудачеств.

И дорого же он поплатился за них!

Внутренне Лермонтов, вероятно, скучал глубоко; он задыхался в тесной сфере, куда его втокнула судьба. На бале Дворянского собрания ему не давали покоя, беспрестанно приставали к нему, брали его за руки; одна маска смеялась другою, а он почти не сходил с места и молча слушал их писк, поочередно обращая на них свои сумрачные глаза...»

Манеры и характер Лермонтова действительно сильно ему мешали. На новогоднем балу 1840 года он неоправданно резко обошелся с дочерьми Николая I, спрятавшимися под маскарадными костюмами, – якобы не узнал их. 18 февраля того же года на балу у графини Лаваль столкнулся с Эрнестом Барантом, сыном французского посланника. «Если бы я был в своем отечестве, то знал бы, как кончить дело», заметил Барант. Разумеется, Лермонтов принял вызов и в тот же день за Черной речкой на Парголовской дороге состоялся

их поединок. После первого выпада у Лермонтова сломалась шпага, Барант слегка оцарапал его. Когда перешли на пистолеты, француз стрелял первым и промахнулся; Лермонтов выстрелил в воздух. В результате сын посланника вынужден был вернуться во Францию, а Лермонтов попал под арест. Белинский, навестивший поэта на гауптвахте, писал В. П. Боткину: «Недавно был я у него в заточении и в первый раз разговорился с ним от души. Глубокий и могучий дух! Как он верно смотрит на искусство, какой глубокий и чисто непосредственный вкус изящного!» Между прочим, разговор между критиком и поэтом состоялся о романах Фенимора Купера, которые оба чрезвычайно высоко ценили. Военному суду до романов, правда, дела не было: Лермонтов был лишен чинов, дворянского достоинства и прав состояния и был разжалован в рядовые. Даже царю это показалось чересчур. По высочайшему повелению Лермонтова просто перевели в армейский Тенгинский полк, находившийся на Кавказе, где в то время постоянно происходили стычки с незамирными горцами.

В мае 1840 года вышел отдельным изданием роман «Герой нашего времени», материалом для которого послужили кавказские впечатления поэта. Но неизданной оставалась поэма „Демон“. Знаменитую поэму Лермонтов начал писать в четырнадцать лет и писал, в сущности, всю жизнь. Известно семь редакций поэмы, значительно отличавшихся друг от друга. Сперва Лермонтов задумал поэму о монахине, в которую влюбляется Демон и губит ее из ненависти к ангелу. Затем, в 1832 году, он пытался приурочить действие поэмы ко времени пленения евреев в Вавилоне. Действие в пятой редакции поэмы вообще происходило на берегу моря. Но, в конце концов, в поэму мощно вторгся Кавказ, а безлика монахиня превратилась в красавицу Тамару. Что же касается первой строфы: *«Печальный демон, дух изгнанья...»*, то она появилась еще в первой редакции.

«В начале 1839 года, – писал один из исследователей творчества Лермонтова И. Л. Андроников, – поэма обратила внимание высших кругов, близких к императорскому дому. Ею заинтересовалась императрица. Ввиду того, что успех „Демона“ при дворе мог повлиять на цензуру, Лермонтов заново пересмотрел текст седьмой редакции, внес в него новые исправления и исключил диалог о Боге (*«Зачем мне знать твои печали?»*). – этот текст не мог получить одобрения). Исправленный и каллиграфически переписанный текст, так называемый «придворный список», был представлен ко двору, 8–9 февраля прочитан императрицей и возвращен автору.

Цензурного разрешения не последовало.

После этого к работе над «Демоном» Лермонтов больше не возвращался, поэтому последнюю – восьмую – редакцию поэмы следует датировать началом 1839 года, а вовсе не 1841 годом – дата, возникшая по недоразумению. В 1841 году, уже после гибели Лермонтова, воспитатель великих князей, родственник поэта генерал А. И. Философов заказал новую копию с автографа «Демона» с тем, чтобы представить ее ко двору наследника. Впоследствии, когда автограф Лермонтова пропал, эта копия обрела значение первоисточника, а время ее изготовления по ошибке было отнесено к созданию последней редакции поэмы.

Поскольку в 1842 году российская цензура запретила «Демона» окончательно (Краевскому удалось опубликовать в «Отечественных записках» только отрывки), Философов решил напечатать поэму за границей по-русски, с тем, чтобы потом, в Петербурге, раздать экземпляры «высоким особам» все с той же целью – отмены цензурного запрещения. Он осуществил этот план в 1856 году, напечатав поэму в Германии, в Карлсруэ. В основу издания был положен «придворный список». В том же году в Берлине поэма была напечатана по не дошедшему до нас списку, разночтения которого были учтены во втором философском издании (1857). В это второе карлсруйское издание внесен диалог о Боге, отсутствовавший в автографе (так как с него снимался список, предназначенный для императрицы). Очевидно, Философов знал, что диалог исключен был самим Лермонтовым по необходимости. Так воз-

никли два текста «Демона» и продолжавшийся более ста лет спор редакторов, по какому из них печатать поэму».

В июне 1840 года Лермонтов прибыл в Ставрополь.

Вместо того, чтобы отправить поэта на побережье, где опасность была особенно велика, командующий кавказской линией генерал П. Х. Граббе прикомандировал Лермонтова к отряду генерал-лейтенанта А. В. Галафеева – для участия в походе в Малую Чечню. 11 июля у речки Валерик произошло сражение, описанное Лермонтовым в стихотворном послании к В. А. Лопухиной. А в октябре Лермонтов сообщал брату Лопухиной: «Пишу тебе из крепости Грозной, в которую мы, то есть отряд, возвратился после 20-дневной экспедиции в Чечне. Не знаю, что будет дальше, а пока судьба меня не очень обижает: я получил в наследство от Дорохова, которого ранили, отборную команду охотников, состоящую из ста казаков – разный сброд, волонтеры, татары и проч., это нечто вроде партизанского отряда, и если мне случится с ним удачно действовать, то авось что-нибудь дадут; я ими только четыре дня в деле командовал и не знаю еще хорошенько, до какой степени они надежны; но так как, вероятно, мы будем еще воевать целую зиму, то я успею их раскусить. Вот тебе все обо мне самое интересное».

В начале 1841 года, получив отпуск, Лермонтов последний раз побывал в Петербурге. «Пылкая молодость, жадная впечатлений бытия, самый род жизни, – вспоминал Белинский, – отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музам; но уже кипучая натура его начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетою жизни, создания зрелые; он сам говорил нам, что замыслил написать романтическую трилогию, три романа из трех эпох жизни русского общества (века Екатерины II, Александра I и настоящего времени), имеющие между собой связь и некоторое единство, по примеру куперовской тетралогии...»

Однако, характер Лермонтова вовсе не стал мягче и покладистее. В апреле поэт без приглашения появился на великосветском балу, на котором присутствовали высочайшие особы. Такой поступок опального офицера был оценен как в высшей степени неприличный и дерзкий. 10 апреля Лермонтова вызвали в Военное министерство и предложили в 48 часов отправиться в полк. Вечер у Карамзиных Лермонтов провел в крайне подавленном настроении. Он будто предчувствовал какие-то трагические события.

Вместе с Лермонтовым на Кавказ отправился его давний друг А. А. Столыпин. По пути в полк, вопреки предписанию начальства, друзья самовольно остановились в Пятигорске. В это время там находилось много раненых и отдыхающих офицеров. Среди них оказался Н. Мартынов, с которым Лермонтов когда-то учился в военной школе. Со свойственной ему бесцеремонностью и в то же время изощренностью Лермонтов постоянно вышучивал Мартынова. 13 июля в доме Верзилиных оскорбленный карикатурами и эпиграммами Лермонтова Мартынов вызвал поэта на дуэль, которая и состоялась 15 (27) июля 1841 года у подножья горы Машук.

Время шло к вечеру. Огромная черная туча поднималась из-за соседней горы Бештау. Лермонтов не отказался от дуэли, но предупредил секундантов, что как когда-то в случае с Барантом, выстрелит в воздух. Когда подали знак сходитьсь, Лермонтов остался на месте, взвел курок и поднял пистолет дулом вверх. Мартынов целился так долго, что Столыпин, секунданта Лермонтова, не выдержал и крикнул: «Стреляйте, или я разведу вас!»

Раздался выстрел. Лермонтов был убит наповал.

Разразилась гроза с сильным ливнем, лишь к вечеру тело Лермонтова было перевезено в домик на окраине Пятигорска.

Узнав о дуэли, Николай I приказал «майора Мартынова посадить в Киевскую крепость на гауптвахту и предать церковному покаянию». Секунданты, впрочем, были прощены. А

в метрической книге Пятигорской Скорбященской церкви осталась короткая запись: «Тенгинского пехотного полка поручик Михаил Юрьев Лермонтов 27 лет убит на дуэли 15 июля, а 17 погребен, погребение пето не было». (Церковь в то время приравнивала смерть на дуэли к самоубийству.)

В апреле 1842 года прах Лермонтова перевезли в Тарханы, где он и был погребен в часовне – фамильном склепе Арсеньевых.

Александр Сергеевич Грибоедов

Родился 4 (15) января 1795 года.

Родители были богаты, владели двумя тысячами душ крепостных.

Получил превосходное домашнее образование. В 1806 году, одиннадцати лет от роду, поступил в московский Университетский благородный пансион, затем в университет. К 1812 году прошел три факультета – словесный, юридический и математический. Владел французским, немецким, английским, итальянским языками, самостоятельно изучал латинский и греческий, впоследствии – персидский, арабский, турецкий. Превосходно играл на фортепьяно, сам сочинял оригинальные музыкальные композиции. Известный бретер Якубович, на дуэли простреливший поэту руку, в сердцах крикнул ему: «Хоть на фортепьянах стучать не будешь!»

Продолжить образование Грибоедову помешала война: он добровольцем записался на военную службу – корнетом в Московский гусарский полк. Впрочем, всю кампанию провел в резерве, в Казанской губернии. Только в декабре 1812 года Грибоедова перевели в Иркутский гусарский полк под команду полковника П. А. Кологривова. Жил он настоящей гусарской жизнью – много кутил, озорничал. В Брест-Литовске въехал верхом на лошади на второй этаж, на бал, куда его не пригласили; в другой раз забрался в польский костел во время богослужения и стал играть на органе. Играл он так, что всех восхитил, но в самый благодный момент внезапно перешел на «Камаринскую».

В 1816 году Грибоедов вышел в отставку и определился на статскую службу в Коллегию иностранных дел в Петербурге. Слава отъявленного волокиты не мешала Грибоедову заниматься литературой. В 1817 году, в соавторстве с П. А. Катениным, написал пьесу «Студент». Правда, на сцене пьеса не появилась, как и последовавшие за нею – «Своя семья, или Замужняя невеста», «Притворная неверность», «Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом». Честолюбивый и энергичный, Грибоедов успевал всюду. Многим в те годы он казался (по свидетельству Д. И. Завалишина) человеком, принесшим из военной жизни репутацию именно отчаянного повесы. Дурачества его становились темой множества анекдотов, а за веселую охоту за чужими женами его не раз с горечью и настойчивостью упрекал Каховский. Одна из таких интриг привела к нашумевшей двойной дуэли Шереметева с графом Завадовским и Якубовича с Грибоедовым. На дуэли Шереметев был убит. Якубовича, признанного зачинщиком, перевели на Кавказ, Завадовского выслали за границу, только Грибоедов не понес никакого наказания, что дало повод к неким слухам, выставившим его не в лучшем свете. На историю эту, остро пережитую Грибоедовым, наложился еще крестьянский бунт в поместье матери, жестоко подавленный войсками. Летом 1818 года, нуждаясь в средствах, Грибоедов определился секретарем Персидской миссии при главнокомандующем Отдельным Кавказским корпусом генерале А. П. Ермолове. Ехать в Персию ему, правда, не хотелось. «Представь себе, – писал он С. Н. Бегичеву, своему близкому другу, – что меня непременно хотят послать – куда бы ты думал? – В Персию, и чтоб жил там. Как я не отнекиваюсь, ничто не помогает; однако я третьего дня по приглашению нашего Министра был у него и объявил, что не решусь иначе (и то не наверно), как если мне дадут два чина тотчас при назначении меня в Тегеран. Он поморщился, а я представлял ему с всевозможным французским красноречием, что жестоко бы было мне цветущие лета свои провести между дикообразными азиатцами, в добровольной ссылке, на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых я здесь вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым я сам могу быть приятен (не смейся: я молод, музыкант, влюбчив и охотно говорю вздор, чего же им еще надобно?), словом, – невозможно мне собою пожертвовать без хотя несколько сора-

мерного возмездия. – „Вы в уединении усовершенствуете ваши дарования“. – „Нисколько, В. С., музыканту и поэту нужны слушатели, читатели; их нет в Персии“.

Грибоедову предоставили выбор: отправиться в русскую миссию в Союз Американских соединенных штатов или же на Кавказ и в Персию. Подумав, он выбрал последнее. Но столицу покинул с тяжелым сердцем, рассеявшись лишь в Тифлисе, где часто посещал дом П. Н. Ахвердовой, воспитывавшей юную княжну Нину Чавчавадзе, впоследствии ставшую его женой; там же Грибоедов подружился с грузинскими поэтами – А. Чавчавадзе (будущим тестем), И. Бараташвили, Г. Орбелиани.

В феврале 1819 года русская дипломатическая миссия прибыла в Тавриз – резиденцию наследника шахского престола Аббаса-Мирзы, затем была принята шахом в Тегеране. «Пребывание в Персии и уединенная жизнь в Тавризе сделали Грибоедову большую пользу, – писал позже Бегичев. – Сильная воля его укрепилась, всегдашнее любознание его не имело уже преград и рассеяния. Он много читал по всем предметам наук и много учился». По Гюлистанскому трактату, русская миссия имела право требовать у персов возвращения русских солдат – раненых и дезертиров. «Встретясь с двумя или тремя сарбазами (русскими солдатами, поступившими в персидское регулярное войско) на улице, – писал Бегичев, – он (Грибоедов) начал говорить им, что они поступили подло, изменив присяге и отечеству и проч., вероятно, очень убедительно, потому что солдаты были тронуты этим и спросили его: ручается ли он, что они не будут наказаны, если возвратятся в Грузию? Грибоедов ответил, что ручаться за это не может, но постарается об этом; впрочем, если они и потерпят за преступление, то лучше один раз потерпеть, но очистить свою совесть». В результате осенью 1819 года Грибоедов привел в Тифлис целый отряд из семидесяти сарбазов, за что был представлен генералом Ермоловым к награде.

В Тифлисе Грибоедов начал работу над комедией «Горе от ума». Известно, что с ее созданием связан некий вещий сон. В этом сне поэт увидел своего близкого друга, который спросил, написал ли он для него что-нибудь? Поскольку Грибоедов ответил, что вообще уже давно отклонился от всяких писаний, друг покачал головой: «Дайте мне обещание, что напишите». – «Что же вам угодно?» – «Сами знаете». – «Когда же должно быть готово?» – «Через год непременно». – «Обязываюсь», – ответил Грибоедов. В марта 1823 года, находясь в отпуске в тульском имении своего друга, Грибоедов действительно завершил комедию. «Последние акты „Горя от ума“, – вспоминал Бегичев, – написаны в моем саду, в беседке. Вставал он в это время почти с солнцем, являлся к нам к обеду и редко оставался с нами долго после обеда, но почти всегда скоро уходил и приходил к чаю, проводил с нами вечер и читал написанные им сцены. Мы всегда с нетерпением ждали этого времени. Не имею довольно слов объяснить, до чего приятны были для меня частые (а особенно по вечерам) беседы наши вдвоем. Сколько сведений он имел по всем предметам! Как увлекателен и одушевлен он был, когда открывал мне, так сказать, на распахку свои мечты и тайны будущих своих творений, или когда разбирал творения гениальных поэтов! Много он рассказывал мне о дворе персидском и обычаях персиян, их религиозных сценических представлениях на площадях и проч., а также об Алексее Петровиче Ермолове и об экспедициях, в которых он с ним бывал. И как он был любезен и остер, когда бывал в веселом расположении».

«Он был скромнен и снисходителен в кругу друзей, – подтверждал П. А. Каратыгин, – но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе. Тут он готов был придирается к ним из пустяков, и горе тому, кто попадался к нему на зубок... Когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому. Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов. В числе последних были: Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда баринном, в собственном доме на Фонтанке у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое

общество. Обед был роскошен, весел и шумен. После обеда все вышли в гостиную, подали кофе, и закурили сигары. Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости в нетерпеливом ожидании начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтобы не проронить ни одного слова. В числе гостей тут был некто Василий Михайлович Федоров, сочинитель драмы „Лиза, или Торжество благодарности“ и других давно уже забытых пьес. Он был человек очень добрый, простой, но имел претензии на остроумие. Физиономия его не понравилась Грибоедову или, может быть, старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены. Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и с простодушной улыбкой сказал: „Ого! Какая полновесная! Это стоит моей Лизы“. Грибоедов посмотрел на него из-под очков и отвечал сквозь зубы: „Я пошlostей не пишу“. Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова, и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: „Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями“. – „Да, над собой-то вы можете смеяться, сколько вам угодно, а я над собой – никому не позволю“. – „Помилуйте, я говорил не о достоинствах наших пьес, а только о числе листов“. – «Достоинств *моей* комедии вы еще не можете знать, а достоинства *ваших* пьес всем давно известны». – «Право, вы напрасно это говорите, я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть». – «О, я уверен, что вы сказали не подумавши, а обидеть меня вы никогда не сможете». Хозяин от этих шпилек был как на иголках, и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала не шуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: «Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел». Грибоедов между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: «Вы можете его посадить, куда вам угодно, только я при нем своей комедии читать не буду». Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа – и где его не тронет, везде уколется...»

При жизни Грибоедова комедия «Горе от ума» не была ни напечатана полностью, ни поставлена на сцене. «Первое начертание этой сценической поэмы, – с горечью писал Грибоедов, – как оно родилось во мне, было гораздо великолепнее и высшего значения, чем теперь в суетном наряде, в который я принужден был облечь его. Ребяческое удовольствие слышать стихи мои в театре, желание им успеха заставили меня портить мое создание сколько можно было». Но даже отрывки, появившиеся в альманахе Булгарина «Русская Талия на 1825 год», сделали Грибоедова знаменитым. Пьеса ходила по столице в бесчисленных списках, состоялись даже два нелегальных издания, выполненные, скорее всего, в каких-то полковых типографиях. Военные и штатские писари зарабатывали немалые деньги, копируя списки комедии. Все же первым отдельным изданием она вышла лишь в немецком переводе в 1831 году в Ревеле. Наконец, в 1833 году Николай I разрешил напечатать комедию в России – «чтобы лишить ее привлекательности запретного плода».

Ничего равного комедии Грибоедов больше не написал.

Может быть, не менее высокими достоинствами отличались пьесы «1812 год», или «Грузинская ночь», или «Радомист и Зенобия», но они дошли до нас только в отрывках. «Сохранился план драмы „1812 год“, – замечал В. Вересаев, – которую собирался написать Грибоедов. Героем драмы должен был быть крепостной человек М. Вот окончание плана. Москва уже во власти французов. „Село под Москвой. Является М. Всеобщее ополчение без дворян. Трусость служителей правительства. Зимние сцены преследования неприятеля и ужасных смертей. Подвиги М. Эпилог. Вильна. Отличия, искательства; вся поэзия великих подвигов исчезает. М. в пренебрежении у начальников. Отпускается восвояси с отеческими наставлениями к покорности и послушанию. Село или развалины Москвы. Прежние мер-

зости. М. возвращается под палку господина. Отчаяние, самоубийство“. Так подойти в то время к „славной эпопее двенадцатого года“ мог только писатель, настроенный очень революционно».

В январе 1825 года Грибоедов писал Катенину: «Искусство в том только и состоит, чтоб подделываться под дарование, а в ком более вытверженного, приобретенного потом и сидением искусства угождать теоретикам, т. е. делать глупости, в ком, говорю я, более способности удовлетворять школьным требованиям, условиям, привычкам, бабушкиным преданиям, нежели собственной творческой силы, – тот, если художник, разбей свою палитру, и кисть, резец или перо свое брось за окошко; знаю, что всякое ремесло имеет свои хитрости, но чем их менее, тем скорее дело, и не лучше ли вовсе без хитростей? *Nugae difficiles*. (Замысловатые пустяки). Я как живу, так и пишу свободно и свободно».

В мае 1825 года Грибоедов прибыл в Киев. Многие, тогда видевшие его, отмечали мрачное настроение поэта. Он сам писал Бегичеву: «Скажи мне что-нибудь в отраду, я с некоторых пор мрачен до крайности. – Пора умереть! Не знаю, отчего это так долго тянется. Тоска неизвестная! Воля твоя, если это долго меня промучит, я никак не намерен вооружиться терпением, пускай оно остается добродетелью тяглого скота. Представь себе, что со мною повторилась та ипохондрия, которая выгнала меня из Грузии, но теперь в такой усиленной степени, как еще никогда не бывало... Ты, мой бесценный Степан, любишь меня тоже, как только брат может любить брата, но ты меня старше, опытнее и умнее; сделай одолжение, подай совет, чем мне себя избавить от сумасшествия или пистолета, а я чувствую, что то или другое у меня впереди...»

Общение с князем Трубецким, с другими членами тайного южного общества не привело Грибоедова к декабристам. Известны его слова: *убийственная болтовня!* Они были сказаны как раз в адрес тех самых «мудрецов, намечающих в пять минут все переустроить». Кроме того, рассеянный образ жизни поэта был слишком хорошо известен его друзьям. «Люди не часы, – писал он. – Кто всегда похож на себя и где найдется книга без противоречий?» Тем не менее, в январе 1826 года Грибоедов был арестован в крепости Грозной, а уже 11 февраля находился на гауптвахте Главного штаба в Петербурге, где четыре месяца провел в заключении. Ходили слухи, что поэт был вовремя предупрежден об аресте генералом А. П. Ермоловым и успел уничтожить какие-то важные бумаги. Сам Грибоедов в Следственной комиссии и в личном письме царю полностью отрекся от участия в делах тайного общества, хотя не скрывал, что «брал участие в смелых суждениях насчет правительства». Несомненно, сыграло свою роль и заступничество генерала И. Ф. Паскевича, члена Следственной комиссии. Впрочем, отношение к арестованным, по крайней мере, к той их части, что содержались не в подвалах Петропавловской крепости, а на гауптвахте Главного Штаба, нельзя было назвать чрезмерно строгим. «Невозможно описать впечатления той неожиданности, которую я был поражен, – вспоминал позже полковник И. П. Липранди. – Открывается дверь, в передней два молодые солдата учебного карабинерного полка, без боевой амуниции; из прихожей стеклянная дверь, через нее я вижу несколько человек около стола за самоваром; все это во втором ночи пополуночи меня поражало. „Вот, господа, еще вам товарищ!“ – сказал Жуковский; все глаза обратились на меня. Здесь сидели за чайным столом: бригадный генерал 18-й дивизии, Кольм; известный Грибоедов; адъютант Ермолова Воейков (оба привезенные с Кавказа), отставной подпоручик Генерального Штаба А. А. Тучков (старший брат бывшего в Москве генерал-губернатора) и предводитель дворянства Екатеринославской губернии Алексеев, человек около шестидесяти лет и, как оказалось, привезенный по ошибке вместо своего сына, гусара. Поздний чай произошел от того, что Воейков и Грибоедов были на допросе в комиссии, находящейся в крепости. Через час мы все были как старые знакомые. Предмет разговора понимается: вопросам, расспросам и взаимно сообщавшимся сведениям не было конца. Содержались мы за свой счет, обед брали из рестора-

ции; позволено было выходить вечером с унтер-офицером для прогулки. Немногие, однако же, желали пользоваться сим; книг, набранных Грибоедовым от Булгарина, было много...»

Довольно скоро Грибоедов был освобожден – с полным «очистительным аттестатом». «Коллежский асессор Грибоедов не принадлежал к обществу (декабристов) и о существовании оно не знал, – сказано было в объяснительной записке, поданной императору. – Показание о нем сделано князем Евгением Оболенским 1-м со слов Рылеева; Рылеев же ответил, что имел намерение принять Грибоедова, но не видя его склонность ко вступлению в общество, оставил свое намерение. Все прочие его членом не почитают».

Получив прогонные деньги, поэт сразу уехал на Кавказ.

В июле 1826 года началась русско-персидская война, Грибоедов участвовал в военном походе на крепость Эривань. После падения крепости шах готов был на территориальные уступки, хотя боялся контрибуции. В результате сложных дипломатических переговоров в феврале 1828 года Персидская миссия заключила чрезвычайно важный для России Туркманчайский мир, по которому Персия навсегда уступала России Нахичеванское и Эриванское ханства и обязывалась уплатить 30 миллионов рублей контрибуции. Заслуги Грибоедова в заключении Туркманчайского мира были весьма заметны; именно его отправили в Петербург с Трактатом о мире. «Осмеливаюсь рекомендовать его, – писал императору генерал Паскевич, – как человека, который был для меня по политическим делам весьма полезен. Ему обязан я мыслью не приступать к заключению трактата прежде получения вперед части денег, и последствия доказали, что без сего долго бы мы не достигли в деле сем желаемого успеха».

15 марта 1828 года император принял Грибоедова. За успешные действия генерал Паскевич был пожалован званием графа Эриванского и миллионом рублей награды, а молодой дипломат – чином действительного статского советника, орденом Святой Анны 2-й степени с алмазами, медалью за персидскую войну и четырьмя тысячами червонцев. Все, казалось бы, складывалось для Грибоедова в высшей степени благоприятно, но некая тайная грусть мешала ему. «Случилось обедать с ним у Н. И. Греча, – вспоминал Полевой. – Входя в комнату, я увидел Грибоедова за фортепьяно; он аккомпанировал известному Този (у которого тогда еще был голос) и какому-то другому итальянцу. Дуэт кончился, и Грибоедов был окружен многими из своих знакомых, которые вошли во время игры, и не хотели прерывать музыки приветствиями к нему. Некоторые поздравляли его с успехами по службе и почестями, о чем ярко напоминали бриллианты, украшавшие грудь поэта. Другие желали знать, как он провел время в Персии. „Я там состарился, – отвечал Грибоедов, – не только загорел, почернел, почти лишился волос на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости!“ В словах его точно виден был какой-то грустный отзыв...» О том же писал и Бегичев, к которому перед возвращением на Кавказ заезжал Грибоедов. «Во время пребывания его у меня он был чрезвычайно мрачен, я ему заметил это, и он взявши меня за руку, с глубокой горестью сказал: „Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобой более увидимся“. – „К чему эти мысли и эта ипохондрия? – возразил я. – Ты бывал и в сражениях, но Бог тебя миловал“. – „Я знаю персиян, – отвечал он. – Аллаяр-хан мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира“.

Летом 1828 года, прибыв в Тифлис, Грибоедов женился на Нине Чавчавадзе.

«Никогда до этого, – писал один из первых биографов поэта Н. К. Пиксанов, – он не переживал глубокого и сильного чувства. Он даже выработал себе несколько пренебрежительный взгляд на женщин. „Я враг крикливого пола“, – писал он однажды Бегичеву. „Чему от них можно научиться? – говаривал он. – Они не могут быть ни просвещенны без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов – в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва

ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогой ценой, какую потерю времени должно покупать приближение к этим феноменам! Словом, женщины сносны и занимательны только для влюбленных“.

Теперь Грибоедов убедился, что во многом ошибался. Правда, из-за пароксизма лихорадки, охватившей его во время бракосочетания, он уронил на пол обручальное кольцо, что смутило многих, но впервые поэт чувствовал рядом с собой по-настоящему любимого человека. Вместе с женой в начале октября прибыл он в Тавриз. Данное ему поручение было очень трудным: взыскать с персов полностью контрибуцию за прошлую войну. Он несколько раз писал в Петербург, что персидская казна пуста, а страна разорена и не следует доводить персов до крайности непомерными денежными требованиями, однако ответ из Петербурга был всегда один: взыскивать! С этой целью, оставив в Тавризе беременную жену, Грибоедов отправился в Тегеран.

О событиях, разыгравшихся в столице Персии, рассказал позже единственный уцелевший в той кровавой резне человек – первый секретарь русской миссии И. С. Мальцов. С его слов известно, что при дворе шаха, в качестве одного из самых доверенных чиновников, ведавших делами гарема, служил армянин Ходжа Мирза-Якуб Маркаръян. Это был выдающийся человек по уму, образованию и характеру, и жил он в Персии давно, уже около двадцати лет, даже принял магометанство, хотя втайне оставался христианином и мечтал вернуться на родину. Воспользовавшись пребыванием русской миссии в Тегеране, Мирза-Якуб поздно вечером явился к Грибоедову и попросил отправить себя в Эривань. Грибоедов ответил, что министр русского императора оказывает свое покровительство всегда гласно, на основании подписанного трактата, и что обращаться к нему, как к официальному посланнику, надо явно, днем, а не ночью. Мирза-Якуб ушел, но на другой день вновь явился с той же просьбой. Напрасно Грибоедов уговаривал его остаться в Тегеране, где он все еще пользуется властью и почетом, тогда как в Эривани сразу потеряет всякий вес и значение, – Мирза-Якуб стоял на своем, и Грибоедов вынужден был оставить его в доме миссии. «Он (Грибоедов) послал человека взять оставшееся в доме Мирзы-Якуба имущество, – писал позже Мальцов, – но когда вещи были уже навьючены, пришли ферраши Манучер-хана, которые увели вьюки Мирзы-Якуба к своему господину. Шах разгневался; весь двор возопил, как будто случилось величайшее народное бедствие. В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что ходжа (евнух) то же, что жена шахская, и что следовательно посланник отнял жену у шаха из его эндеруна. Грибоедов отвечал, что Мирза-Якуб, на основании трактата, теперь русский подданный, и что посланник русский не имеет права выдать его, ни отказать ему в своем покровительстве. Персияне, увидев, что они ничего не возьмут убедительною своею логикой, прибегли к другому средству; они возвели огромные денежные требования на Мирзу-Якуба и сказали, что он обворовал казну шаха и потому отпущен быть не может. Для приведения в ясность всего дела, Грибоедов отправил его вместе с переводчиком Шах-Назаровым к Манучер-хану. Комната была наполнена ходжами, которые ругали Мирзу-Якуба и плевали ему в лицо. „Точно, я виноват, – говорил Мирза-Якуб Манучер-хану. – Виноват, что первый отхожу от шаха, но ты сам скоро за мной последуешь“. Таким образом, в этот раз, кроме ругательства, ничего не последовало.

На другой день посланник был у шаха и согласился на предложение его высочества разобрать дело Мирзы-Якуба с муэтемедом и Мирза-Абдул-Хаса-ханом; но сие совещание отлагалось со дня на день, до тех пор, пока смерть посланника и Мирзы-Якуба сделали оное невозможным. Между тем дошло до сведения муджтехида (высшее духовное лицо) Мирзы-Мехида, что Мирза-Якуб ругает мусульманскую веру. «Как? – говорил муджтехид. – Этот человек 20 лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он изменник, неверный и повинен смерти!» Также о женщинах (бежав-

ших из гарема в русскую миссию) доложили ему, что их насильно удерживают в нашем доме и принуждают будто бы отступить от мусульманской веры. Мирза-Месих отправил ахундов к Шахзадэ-Зилли-султану (губернатору Тегерана); они сказали ему: «Не мы писали мирный договор с Россией, и не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам непременно возвратили пленных». Зилли-султан просил их повременить, обещал обо всем донести шаху. Ахунды пошли домой и дорогой говорили народу: «Запирайте завтра базар и собирайтесь в мечетях; там услышите наше слово!»

Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечети. «Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема!» – грузина, находившегося в услужении у посланника. Тысячи народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в наш дом и кидали камень. Я видел, как в это время пробежал через двор коллежский ассессор князь Соломон Меликов, посланный к Грибоедову дядею его Манучер-ханом; народ кидал в него камнями и вслед за ним помчался на второй и третий двор, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое. Карательные сарбазы не имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами, и тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это самое время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским; все находившиеся там были убиты низверженными сверху камнями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни. Начался грабёж; я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракою делили оную между собою. Деньги, бумаги, журналы миссии, – все было разграблено». Труп Грибоедова выволокли наружу и долго с издевательствами таскали по улицам Тегерана. Обезображенное тело было узнано только по сведенному когда-то от пули Якубовича мизинцу левой руки.

Останки Грибоедова перевозились в русские пределы очень медленно.

Только 2 мая гроб прибыл в Нахичевань. А 11 июня, неподалеку от крепости Гергеры, произошла знаменательная встреча, описанная Пушкиным: «Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. „Откуда вы?“ – спросил я. – „Из Тегерана“. – „Что вы везете?“ – „Грибоеда“.

Нина Чавчавадзе похоронила мужа в Тифлисе – в монастыре святого Давида. Впоследствии она поставила над могилой скульптурный памятник, начертав на нем: «Ум и дела твои бессмертны в памяти русских, но для чего пережила тебя любовь моя». Не многие, вероятно, знают, что официальная миссия, возглавляемая внуком персидского шаха Хосров-Мирзой, принесла не только официальные извинения России за смерть ее посланника, но и преподнесла Николаю I один из самых знаменитых драгоценных камней мира – алмаз «Шах». В некотором смысле – цена крови поэта.

Петр Павлович Ершов

Родился 22 (6. III) февраля 1815 года в селе Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии. Был столь слаб, что родители, по принятому в Сибири суеверию, через окно продали его за грош нищему. Впоследствии не раз говорил: «Что мне чины и почести, когда я от рождения стою всего только грош».

Когда Ершову исполнилось десять лет, отца – станового исправника – перевели в Тобольск. Будущий поэт чрезвычайно был поражен огромными, как казалось ему, каменными домами, древним Кремлем, пустынным Чувашским мысом, вблизи которого произошло когда-то решающее сражение между войсками Ермака и хана Кучума, а особенно – многолюдной ярмаркой. В 1830 году с отличием закончил гимназию и поступил на философско-юридический факультет Петербургского университета. Студентом, впрочем, Ершов оказался не слишком усердным, удержаться в университете ему помогало своеобразное везение. Если, скажем, готовясь к экзамену по уголовному праву, он успевал выучить только один билет, то именно этот билет ему и попался на экзамене. Закончив университет, Ершов сам не раз огорчался: «Вот я – кандидат университета, а не знаю ни одного иностранного языка».

В 1833 году профессор литературы П. А. Плетнев прямо на лекции прочел своим студентам первую часть стихотворной сказки «Конек-Горбунок», представленной студентом Ершовым в виде курсовой работы. *«За горами, за лесами, за широкими морями, не на небе – на земле жил старик в одном селе. У крестьянина три сына: старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Братья сеяли пшеницу да возили в град-столицу: зная, столица та была недалеко от села. Там пшеницу продавали, деньги счетом принимали и с набитою сумой возвращались домой...»*

Сказка понравилась.

Плетнев нашел время показать ее Пушкину.

И Пушкину сказка понравилась, он даже поправил в ней первых четыре стиха. «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить, – якобы сказал он друзьям. – Этот Ершов владеет своим стихом, как крепостным мужиком».

В 1834 году сказка «Конек-Горбунок» была напечатана в журнале «Библиотека для чтения». В том же году сказка вышла отдельной книжкой, принеся девятнадцатилетнему поэту широкую известность. При жизни поэта «Конек-Горбунок» выдержал не менее семи изданий, породив при этом массу самых разных подражаний. Только строгий В. Г. Белинский не преминул проворчать что-то про подделку под народное творчество. Впрочем, он и сказки Пушкина считал такой же подделкой.

Летом 1836 года, по окончании университета, Ершов получил назначение в родную ему гимназию. В Тобольске поэт близко сдружился с композитором А. А. Алябьевым, встречался с некоторыми сосланными туда декабристами. Известно, что именно через Ершова был переправлен в Петербург стихотворный ответ Одоевского на послание Пушкина. В Тобольске Ершов написал быль «Сибирский казак», сочинил поэму «Сузге» и рассказ «Купец Базим, или изворотливость бедняка». Однако это оказались вполне обычные сочинения, ничего равного сказке «Конек-Горбунок» Ершов больше уже никогда не создал, хотя замыслов у него было много. Например, он долгое время собирался написать большой сибирский роман, во всех смыслах – сибирский, взяв за образец популярные тогда романы Фенимора Купера; продумывал огромную сказочную эпопею «Иван-Царевич – сказка сказок в десяти книгах и ста песнях». Может быть он даже что-то успел сделать, – это неизвестно. Архив поэта, насчитывавший, по словам сына, семь солидных, хорошо переплетенных томов, до сих пор не найден.

В Тобольске Ершов горячо влюбился в Серафиму Александровну Лещову – вдову, обремененную четырьмя детьми. Дочь бывшего директора Тобольской гимназии, красивая, образованная, но при этом практичная, не сразу решилась на брак с молодым, на ее взгляд, двадцатитрехлетним учителем. Однако 8 сентября 1839 года свадьба все-таки состоялась.

Женитьба сильно изменила жизнь Ершова.

Теперь он постоянно должен был заботиться о заработке. Мечты о свободных этнографических исследованиях, которыми он себя прежде тешил, отпали сами собой, слава не прельщала, а может, не казалась уже возможной. «На „Коньке-Горбунке“, – не раз говорил Ершов, – воочию сбывается русская пословица: не родись ни умен, ни пригож, а родись счастлив. Вся моя заслуга тут, что мне удалось попасть в народную жилу». Ко всему прочему сильно осложнились отношения Ершова с директором гимназии Е. М. Качуриным. «Являясь на лекции преподавателей не более одного раза в неделю, – вспоминал о Качурине один из его учеников, – был горд с ними и никогда не подавал им руки». Неприязненные отношения с директором зашли так далеко, что Ершов всерьез подумывал об отъезде из Тобольска. Этому помешали лишь личные обстоятельства – рождение и смерть дочери, да уже налаженный быт, который поэту не хотелось ломать. «Он (Ершов) сделал бы для Сибири много, – жалел позже известный исследователь и общественный деятель Г. Н. Потанин, – если б занялся естественными науками или восточными языками, или снял бы с себя официальный сюртук, обратился в обыкновенного смертного и отдался изучению бытовой жизни простого народа; деля с народом труды и досуг в обозе, на белкованье, на полатах, участвуя на его свадьбах и сходках, он мог бы сделаться народным поэтом Сибири». А так, укорял поэта Потанин, «из него вышел просто чиновник, присосавшийся к жене и к семейной жизни, к тихой уездной жизни и по временам пописывающий стихи». Впрочем, у Потанина и к самой Сибири нашлись укоры: «Она погубила его, эта „северная красавица“, которая однако была холодной, грязная и грубая красавица, колотившая своего любовника кулаками».

Увлечшись педагогикой, Ершов пытался создать новый гимназический курс, обдумывал кое-какие реформы в словесности, – однако все эти его работы не были напечатаны, и судить о них сейчас можно только по кратким воспоминаниям его учеников.

В 1844 году Ершова назначили инспектором гимназии, но сам он мечтал о другой должности. «В июне месяце директор Тобольской гимназии Качурин отъезжает в Петербург, – откровенно писал он в столицу бывшему своему профессору П. А. Плетневу. – Он взял отпуск на три месяца, и, слышно, в Тобольск не воротится. Потому на место его есть много претендентов, и об одном из них генерал-губернатор Западной Сибири передал уже докладную записку г. Министру. Между тем место директора в Тобольске – была единственная цель службы моей в Сибири. И казалось бы, что 13 лет службы не без пользы по учебному ведомству давали мне право на эту должность. Однако ж ходатайство одного моего родственника у князя, в бытность его в Петербурге, не имело успеха: князь Горчаков отозвался, что получение подобной должности зависит не от него, а от г. Министра, хотя тут он прибавил, что если почему-либо представлено будет ему назначение директора, то он готов рекомендовать меня. Я удовольствовался бы и этою слабою надеждою, если б не приходило на мысль, что г. Качурин, по нерасположению своему ко мне, предварительно не отрекомендовал меня г. Министру с невыгодной стороны. Удостоите меня, Петр Александрович, хотя двумя строками ответу: могу ли я надеяться на Ваше ходатайство у г. Министра? Вы успокоите меня и сделаетесь вновь благодетелем целого семейства».

Оставшись в литературе автором одной (правда, знаменитой) сказки, Ершов относился к этому достаточно спокойно, видимо, понимал пределы отпущенного ему дара. «Вы намекнули о литературных трудах моих, – писал он Плетневу. – Что сказать мне на это, разве только то, что они кончились с переходом *Современника* в другую редакцию (в руки Некрасова). По моему понятию в литературе я охотно участвовал бы в журнале, подобном Вашему *Совре-*

меннику; всякое же другое направление журнала не по мне. Принадлежа долгое время не к деятелям, а к наблюдателям литературы, я научился смотреть на вещи беспристрастно, и литературная известность в настоящее время не слишком лестна даже и для убогого таланта. А поэзия?... Она, кажется, схоронена вместе с незабвенным Пушкиным и Лермонтовым... Лебединая песнь Жуковского заглушена журнальными крикунами, и грустно, если она прервется, подобно песне Гоголя... Одна надежда на светлое будущее, на явление какого-нибудь могучего таланта, который невольно заставит холодный век наш благоговеть перед гармониею звука».

Умер 18 (30) августа 1869 года в Тобольске.

Алексей Васильевич Кольцов

Родился 3 (15) октября 1809 года в Воронеже.

Отец – прасол. Промышлял стадами баранов, как писал позже Белинский, для доставки материала на салотопенные заводы. Был богат, владел большим домом, семейство держал в полном повиновении. Грамоте Кольцова обучил случайный воронежский семинарист. В девять лет мальчик пошел было в Воронежское уездное училище, но уже из второго класса отец забрал его, поскольку остро нуждался в помощнике. «Само собою разумеется, – писал Белинский, – что с ранних лет он (Кольцов) не мог набраться не только каких-нибудь нравственных правил или усвоить себе хорошие привычки, но и не мог обогатиться никакими хорошими впечатлениями, которые для юной души важнее всяких внушений и толкований. Он видел вокруг себя домашние хлопоты, мелочную торговлю с ее проделками, слышал грубые и не всегда пристойные речи даже от тех, из чьих уст ему следовало бы слышать одно хорошее. Всем известно, какова вообще наша семейственная жизнь, и какова она в особенности в среднем классе, где мужицкая грубость лишена добродушной простоты и соединена с мещанскою спесью, ломаньем и кривляньем. По счастью, к благодатной натуре Кольцова не приставала грязь, среди которой он родился и на лоне которой был воспитан». Разъезжая по селам и деревням, Кольцов покупал и продавал скот, вел дела и тяжбы с крестьянами и купцами. «Он любил вечерний огонь, на котором варилась степная каша, – вспоминал позже Белинский, – любил ночлеги под чистым небом, на зеленой траве; любил иногда целые дни не слезать с коня, перегоняя стада с одного места на другое». Так же полюбив чтение, он никогда не расставался с книгами и в степи. Воронежский книготорговец Д. А. Кашкин разрешил молодому прасолу бесплатно пользоваться книгами из своего магазина, объяснял ему неизвестные слова. В первых стихотворных опытах помог Кольцову и А. П. Серебрянский, автор известной песни «Быстры, как волны, дни нашей жизни...»

В 1830 году, будучи в Воронеже, известный деятель столичного философского кружка Н. В. Станкевич услышал от своего камердинера, что некий местный молодой прасол сочиняет удивительные песни, ни на что не похожие. При этом камердинер процитировал некоторые запомнившиеся ему строки, и Станкевича они заинтересовали. Он встретился с Кольцовым и в следующем году напечатал понравившиеся ему песни в петербургской «Литературной газете».

В 1828 году Кольцов влюбился в крепостную девушку. «Известное дело, – писал позже Белинский, близко друживший с поэтом, – что в этом сословии первое задушевное желание отца состоит в том, чтобы поскорее женить своего сына на каком-нибудь размалеванном белилами, румянами и сурьюю болване с черными зубами и хорошим, соответственно состоянию семьи жениха, приданым. Связь Кольцова (с крепостной) была опасна для этих мещанских планов, не говоря уже о том, что в глазах диких невежд, простодушно и грубо чуждых всякой поэзии жизни, она казалась предосудительною и безнравственною. Надо было разорвать ее во что бы то ни стало. Для этого воспользовались отсутствием Кольцова в степь, – и когда он воротился домой, то уже не застал *ее* там. Это несчастье так жестоко поразило его, что он схватил сильную горячку. Оправившись от болезни и признавшись у родных и знакомых деньжонок, он бросился, как безумный, в степь разведывать о несчастной. Сколько мог, далеко ездил сам, еще дальше посылал преданных ему за деньги людей. Не знаем, долго ли продолжались эти розыски; только результатом их было известие, что несчастная жертва варварского расчета, попавшись в донские степи, в казачью станицу, скоро зачахла и умерла в тоске и в муках жестокого обращения. Эти подробности, – добавлял Белинский, – мы слышали от самого Кольцова в 1838 году. Несмотря на то, что он вспоминал горе, постигшее его назад тому более десяти лет, лицо его было бледно, слова с трудом и медленно выходили

из его уст, и, говоря, он смотрел в сторону и вниз. Только один раз говорил он с нами об этом. и мы никогда не решались более расспрашивать его об этой истории, чтобы узнать ее во всей подробности: это значило бы раскрывать рану сердца, которая и без того никогда вполне не закрывалась...»

В 1835 году, с помощью Станкевича и Белинского, вышел в свет небольшой сборник – «Стихотворения Алексея Кольцова». «Прасол верхом на лошади, – писал Белинский, – гоняющий скот с одного поля на другое, по колено в крови присутствующий при резании, или, лучше сказать, при бойне скота; приказчик, стоящий на базаре у возов с салом, – и мечтающий о любви, о дружбе, о внутренних поэтических движениях души, о природе, о судьбе человека, о тайнах жизни и смерти, мучимый и скорбями растерзанного сердца и умственными сомнениями, и, в то же время, деятельный член действительности, среди которой поставлен, смысленный и бойкий русский торговец, который продает, покупает, бранится и дружится Бог знает с кем, торгуется из копейки и пускает в ход все пружины мелкого торгашества, которых внутренне отвращается как мерзости: какая картина! Какая судьба, какой человек!».

В то же время поэт целиком и полностью зависел от отца.

«Он был сметлив, практичен, отец постепенно передал ему все дела, – писал Вересаев, – но держал сына в ежовых рукавицах, требовал строгой отчетности; собственных денег у Кольцова никогда не было; любой приказчик по найму был независимее и богаче этого хозяйского сына. По поручению Кольцову случалось ездить в столицы – продавать гурты скота, хлопотать по судебным делам, которых у старика было несчетное количество, особенно с крестьянами по аренде земель. Тут в первый раз старик почувствовал, что пустяковые стишки, которые кропал чужак-сын, дело не безвыгодное. Стишки доставили сыну знакомство с сановными особами, очень полезными при ведении судебных дел. По просьбе сына, Жуковский, кн. Вяземский, кн. Одоевский писали письма воронежским властям и в судебные инстанции и тем много способствовали удачному исходу целого ряда кольцовских процессов. Однако процессов этих было так много, просить покровителей приходилось так часто, что даже благодушный Жуковский, наконец, стал принимать Кольцова холодно и избегать с ним встреч».

И. С. Тургенев, встречавший Кольцова в Петербурге на квартире у Плетнева, писал: «...В комнате находился еще один человек. Одетый в длиннополый двубортный сюртук, короткий жилет с голубой бисерной часовой цепочкой и шейный платочек с бантом, он сидел в уголку, скромно подобрав ноги, и изредка покашливал, торопливо поднося руку к губам. Человек этот поглядывал кругом не без застенчивости, прислушивался внимательно, в глазах его светился ум необыкновенный, но лицо у него было самое простое русское».

Занимаясь самообразованием, Кольцов далеко не всегда мог правильно уяснить суть осваиваемых предметов. «Субъект и объект я еще немножечко понимаю, – писал он Белинскому, вдруг занявшись философией, – а вот абсолюта ни крошечки». Претензии на большое знание, конечно, вызывали среди окружающих поэта людей насмешки. «Что я? – жаловался он Белинскому. – Человек без лица, без слова, безо всего просто. Жалкое создание, несчастная тварь, которая годится лишь на одно: возить воду да таскать дрова... Торгаш, копеечник, подлец... Вот мое значение, вот в каких слоях я могу быть президент...» – «Только в 1841 году серая жизнь Кольцова неожиданно осветилась ярким счастьем, – писал Вересаев. – Он полюбил заезжую купеческую вдову Варвару Григорьевну Лебедеву. Она отнеслась к его любви благосклонно. „Чудо! – писал Кольцов Белинскому. – Брюнетка, стройна до невероятности, хороша чертовски, умна, образована порядочно, много читала, думала, страдала, кипела в страстях“. Но счастье продолжалось всего два месяца. Красавица оказалась дамой весьма легких нравов. Наградив Кольцова сифилисом, она бросила его и уехала из Воронежа с офицером».

К этому времени отношения Кольцова с отцом почти прервались.

«В конце сентября, – писал он В. П. Боткину, – у меня сделалось воспаление в почках, но пиявки, припарки, прохладительное – возвратили к жизни. Отец, несмотря ни на что, мучить меня не переставал и очень равнодушно сказал мне, что если я умру, он будет рад, а если буду жить, то он предуведомляет меня вперед, чтоб я ничего не ждал и не надеялся; что он дома и ничего мне никогда не предоставит; что если не успеет при жизни прожить, то сожжет. И этак говорил он тогда, когда я ему ни слова ни о чем подобном не сказал и ничего от него не требовал. Мать моя простая, но добрая женщина; хотела мне помочь, но я ее отклонил и поддерживал себя займом. Воспаление прошло, и я немножко опять начал поправляться. Осень. Мезонин холоден, по необходимости поместился вместе. Комнату занял на проходе; удобней не было; было, – да в ней жили старики, ее не дали. Ну, ничего, живу. За сестру сватаются. Завязалась свадьба, все начало ходить, бегать через мою комнату; полы моют то и дело, а сырость для меня убийственна. Трубки благовония курят каждый день; для моих расстроенных легких все это плохо. У меня опять образовалось воспаление, сначала в правом боку, потом в левом против сердца, довольно опасное и мучительное. И здесь-то я струсил не на шутку. Несколько дней жизнь висела на волоске. Лекарь мой, несмотря на то, что я ему мало платил, приезжал три раза в день. А в эту же пору у нас вечеринки каждый день, – шум, крики, беготня; двери до полночи в моей комнате минуты не стоят на петлях. Прошу не курить, – курят больше; прошу не благовонить – больше; прошу не мыть полов, – моют. На пестрой только свадьба кончилась. Шум с плеч долой. На третий день после конца свадьбы отец ко мне приходит. Говорит, чтоб я перешел в его комнату. Я отказался: она зимой сыра, а это мне вредней всего. Он сказал: „Не хочешь? Ну, переходи, куда хочешь, или иди со двора“. И много наговорил в этом роде.

Но вы спросите, отчего ко мне сделался так дурен отец и сестра? – писал дальше Кольцов. – Отец мой от природы с сильною физическою природою человек, жил в приказчиках, приобрел кое-что, сделался хозяином, наживал капиталу 70 тысяч рублей три раза и проживал их вновь, последний раз прожил, – и осталось у него много дел. Он их кое-как затушил, а окончить было нечем. Они пали на меня; в восемь лет я их поуладил, и это дело, за которым я жил в Москве, было последнее. Оно кончилось на время хорошо, теперь у него их нет, он покоен. Выстроил дом, приносит доходу до 6000 в год, да еще у нас девять комнат за собой. Кроме того, у него осталось до двадцати тысяч. Он самолюбив, хвастун, упрям, хвастун без совести. Не любит жить с другими в доме человечески, а любит, чтобы все перед ним трепетало, боялось, почитало и рабствовало. И я все это переносил и терпел, но как у меня была особая комнатка, уйду в нее и отдохну. Не думал о себе, а только о делах. Но, приняв дела, уладил их. И как был Жуковский (в Воронеже), он дал мне большой вес, и старик, ради дел, по необходимости, дал мне свободы более, чем желал. Это ему наскучило. Ему хотелось одолеть меня прежде, настаивая жениться. Я не хотел. Это его взбесило. Женись – он бы тогда надо мной разговелся. Сестра же против меня его пуще возбудила. Она все мои фантазии, которые я ей рассказывал, перетолковала по-своему, и кончила, что я приехал затем, чтобы обобрать старика, да и в Питер. Она также сбывала с рук меня, чтобы выйти замуж и войти во двор и овладеть всем».

Умер 29 (10. XI) октября 1842.

Замечательно сказал о Кольцове Глеб Успенский.

«В русской литературе есть писатель, которого невозможно иначе назвать, как поэтом земледельческого труда – исключительно. Это – Кольцов. Никто, не исключая и самого Пушкина, не трогал таких поэтических струн народного мирозерцания, воспитанного исключительно в условиях земледельческого труда, как это мы находим у Кольцова. Спрашиваем, что могло бы вдохновить хотя бы и Пушкина при виде пахущего мужика, его сохи и клячи? Пушкин мог бы только скорбеть об этом труженике, „влачащемся по браздам“, об ярме, кото-

рое он несет, и т. д. Придет ли ему в голову, что этот раб, влачащийся по браздам, босиком бредущий за своей клячонкой, чтобы он мог чувствовать в минуту этого тяжелого труда что-либо, кроме сознания его тяжести? А мужик, изображаемый Кольцовым, хотя и влачится по браздам, находит возможность говорить своей кляче такие речи: *«Весело на пашне, я сам-друг с тобою, слуга и хозяин. Весело я лажу борону и соху»*. А косарь того же Кольцова, который, получая на своих харчах 50 коп. в сутки, находит возможность говорить такие речи: *«Ах, ты степь моя, степь привольная! В гости я к тебе не один пришел, я пришел сам-друг с косою вострою. Мне давно гулять (это за 50 коп. в сутки!) по траве степной, вдоль и поперек, с ней хотелось. Раззудись плечо, размахнись рука, ты пахни в лицо ветер с полудня, освежи, взволнуй степь просторную, зажужжи, коса, засверкай кругом!»* Тут что ни слово, то тайна крестьянского мирозерцания: все это – прелести, ни для кого, кроме крестьянина, недоступные».

Федор Иванович Тютчев

Тени сизые смешались,
Цвет поблекнул, звук уснул —
Жизнь, движенье разрешились
В сумрак зыбкий, в дальний гул...
Мотылька полет незримый
Слышен в воздухе ночном...
Час тоски невыразимой!
Все во мне, и я во всем!

Сумрак тихий, сумрак сонный,
Лейся в глубь моей души,
Тихий, темный, благовонный,
Все залей и утиши.
Чувства мглой самозабвенья
Переполни через край!
Дай вкусить уничтоженья,
С миром дремлющим смешай!

Родился 23 (5. XII) ноября 1803 года в усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии.

Домашним воспитанием потомственного дворянина Тютчева занимался известный в то время поэт и переводчик Раич. Под его влиянием Тютчев рано начал писать стихи. В основном это были подражания торжественным одам ушедшего века, однако, на чтении, устроенном в 1818 году в Обществе любителей российской словесности, четырнадцатилетний поэт был в знак поощрения избран действительным сотрудником этого общества. Тогда же он поступил на словесное отделение Московского университета. «Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку», как писал о нем современник, блистательно прошел весь университетский курс, отдавая явное предпочтение истории, философии и естественным наукам. В те же годы в журналах появилось несколько его стихотворений, но критика их не заметила, а сам Тютчев своим стихам никогда не придавал значения.

В 1822 году, после окончания университета, Тютчева зачислили на службу в Коллегию иностранных дел. Благодаря родственным связям, он сразу попал в русское посольство, располагавшееся в Мюнхене, столице Баварского королевства – сверхштатным чиновником, затем вторым секретарем. Он уехал в Баварию восемнадцатилетним юношей и провел за рубежом двадцать два года. Впрочем, где бы он ни находился, занимала его не столько служба, сколько светская жизнь и собственные занятия историей и политикой. «Его не привлекали ни богатства, ни почести, ни даже слава, – писал его мюнхенский друг И. Гагарин. – Самым душевным, самым глубоким его наслаждением было наблюдать за картиной, развертывающейся перед ним в мире, с неослабным любопытством следить за всеми ее изменениями и обмениваться впечатлениями со своими соседями». В Мюнхене Тютчев подружился с Генрихом Гейне, с философом Ф. Шеллингом, общался с приезжавшими в Мюнхен братьями Киреевскими, П. А. Вяземским, А. И. Тургеневым, В. А. Жуковским. Там же в 1826 году он женился на молодой вдове Элеоноре Патерсон, урожденной графине Ботмер. Этот брак казался прочным и долгим, но в 1833 году Тютчев познакомился на балу с двадцатидвухлетней красавицей баронессой Эрнестиной Дернберг, урожденной баронессой Пффеф-

фель. Начавшийся между ними роман весьма удручал жену Тютчева, бывали дни, когда она склонялась к самоубийству. В конце концов, русский посланник в Баварии приказал перевести Тютчева в Турин, в Сардинское королевство – старшим секретарем миссии. К сожалению, это уже ничем не могло помочь Элеоноре – в августе 1838 года она умерла. «Первые годы твоей жизни, – позже писал Тютчев дочери Анне, – были для меня самыми прекрасными, самыми полными годами страстей. Я провел их с твоей матерью и Клотильдой (сестрой Элеоноры). Эти дни были прекрасны... Нам казалось, что они не кончатся никогда, – так богаты, так полны были эти дни... Но годы промелькнули быстро, и все исчезло навеки. И столько людей более или менее знакомых, более или менее любимых исчезло с горизонта, чтобы никогда больше не появиться на нем... И она также... И все же я обладаю ею, она вся передо мной, бедная твоя мать!». Впрочем, Жуковский, встречавший Тютчева в том же году, с немалым удивлением записал в своем дневнике: «Горе и воображение... Он (Тютчев) горюет о жене, которая умерла мученической смертью, а говорят, что он влюблен в Мюнхене...»

В марте 1839 года Тютчев попросил разрешения у министра иностранных дел графа Нессельроде – «ради покоя и воспитания своих детей жениться на госпоже Дернберг». Женитьбу Тютчеву разрешили, но полагающегося отпуска не дали. В итоге Тютчев попросту бросил казенные дела. Как писал один из его биографов: «намереваясь жениться, этот уверенный в делах (Тютчев) самопроизвольно эти дела покинул и, взяв с собою дипломатические шифры, отправился в Швейцарию со своей будущей женой, Эрнестиной Федоровной баронессой Дернберг, рожденной фон Пфеффель, с нею там обвенчался, а шифры и другие важные служебные документы – в суматохе свадьбы и путешествия потерял».

Случившееся положило конец дипломатической карьере Тютчева.

До 1844 года он жил в Мюнхене, но содержание большой семьи (у него было пять детей) требовало значительных трат, – пришлось хлопотать о службе. Как раз в это время статья поэта «Россия и Германия», в которой Тютчев обосновывал причины того, почему именно с Россией Германия должна находиться в вечном прочном союзе, попала в руки Николая I и очень императору понравилась. «Я нашел в ней свои мысли», – заявил Николай. Благодаря этому поэт вновь был зачислен в Коллегию иностранных дел, но теперь ему пришлось вернуться в Россию. «Я не без грусти расстался с этим гнилым Западом, таким чистым и полным удобств, – писал он одному из друзей, – чтобы вернуться в эту многообещающую в будущем грязь милой родины».

В русской столице Тютчев повел жизнь очень активную. Он был непрременным и постоянным участником всевозможных вечеров и собраний, не обязательно литературных, в основном даже вовсе не литературных. В обществе за ним сразу утвердилась слава говоруна и непревзойденного остроумца. В то же время он знал себе цену и никому не прощал попыток себя уколоть. Так однажды, накануне нового года, в пакете, полученном от великого князя Константина, Тютчев обнаружил очки. За два дня до этого на балу у Анненковых поэт из-за своей близорукости не заметил прошедшего рядом великого князя и не поклонился ему. Решив, что присылка очков – намек на его невоспитанность, Тютчев рассердился. Незамедлительно отослал он великому князю тут же написанные стихи. *«Есть много мелких, безымянных созвездий в горней вышине, для наших слабых глаз, туманных, недостижимы оне... И как они бы ни светили, не нам о блеске их судить, лишь телескопа дивной силе они доступны, может быть... Но есть созвездия иные, от них иные и лучи: как солнца пламенно-живые, они сияют нам в ночи... Их бодрый, радующий души свет путеводный, свет благой везде, и в море и на суше, везде мы видим пред собой... Для мира дальнего отрада, они – краса небес родных. Для этих звезд очков не надо, и близорукий видит их...»* Правда, скоро выяснилось, что присылка очков объяснялась всего лишь предстоящим костюмированным балом в Михайловском дворце. На этом балу некоторые гости могли появиться в

одинаковых домино, и, не желая быть узанным по очкам (он был близорук и, в отличие от Тютчева, сильно), великий князь распорядился послать одинаковые очки всем, кто собирался появиться на балу в домино.

Будучи убежденным сторонником монархии, во многом примыкая к лагерю славянофилов, в публицистических своих статьях (написанных, кстати, на французском языке) Тютчев самодержавную и православную Россию постоянно противопоставлял безбожному революционному Западу. При этом христианская идея прекрасно совмещалась у него с открытыми призывами к захвату Константинополя, который по созданной Тютчевым концепции Великой греко-российской восточной империи должен был стать столицей огромного будущего государства, объединяющего всех славян под властью русского царя. Даже жене в орловскую деревню Тютчев посылал пространные письма на эту тему. Маленький, тщедушный, зябкий, вечно недомогающий, он проявлял массу энергии, когда следовало донести идею до нужных людей. «Тютчев был одним из самых замечательных русских людей, – замечал по этому поводу Ходасевич, – но, как многие русские люди, не сознавал своего истинного призвания и места. Гнался за тем, для чего не был рожден, а истинный дар свой не то чтобы не ценил вовсе, но ценил не так и не за то, что в нем было наиболее удивительно».

В июле 1850 года (в возрасте сорока семи лет) Тютчев познакомился в Петербурге с Еленой Александровной Денисьевой – племянницей и воспитанницей инспектрисы Смольного института, в котором учились все его дочери. Денисьевой в то время было всего двадцать четыре года, но это не помешало роману, который бурно продолжался четырнадцать лет, окончившись лишь в августе 1864 года, – со смертью Денисьевой. Связь с Тютчевым дорого далась Елене Александровне: перед нею закрылись двери домов, в которых прежде ее принимали с удовольствием; тетке, вырастившей и воспитавшей ее, пришлось оставить Смольный; отец отрекся от дочери; трех дочерей родила Денисьева Тютчеву, и все они считались незаконнорожденными...

«Вы знаете, – писал Тютчев А. И. Георгиевскому, зятю Денисьевой, после ее смерти, – как я всегда гнушался этими мнимо поэтическими профанациями внутреннего чувства, этою постыдною выставкою напоказ своих язв сердечных... Вы знаете, она, при всей своей поэтической натуре, или, лучше сказать, благодаря ей, в грош не ставила стихов, даже и моих – ей только те из них нравились, где выражалась моя любовь к ней – выражалась гласно и во всеуслышание... Вот чем она дорожила: чтобы целый мир знал, чем она для меня – в этом заключалось ее высшее не то что наслаждение, но душевное требование, жизненное условие души ее... Я помню, раз как-то в Бадене, гуляя, она заговорила о желании своем, чтобы я серьезно занялся изданием моих стихов, и так мило, с такою любовью создалась, что так отрадно было бы для нее, если бы во главе этого издания стояло ее имя (не имя, которого она не любила, но *она*). И что же – поверите ли вы этому? – вместо благодарности, вместо любви и обожания, я, не знаю почему, высказал ей какое-то несогласие, нерасположение, мне как-то показалось, что с ее стороны подобное требование *не совсем великодушно*, что, зная, до какой степени я весь ее («ты мой собственный», как она говорила), ей нечего, незачем было желать и еще других печатных заявлений, которыми могли бы огорчиться или оскорбиться другие личности. За этим последовала одна из тех сцен, которые все более и более подтачивали ее жизнь и довели нас – ее до Волкова поля, а меня – до чего-то такого, чему и имени нет ни на каком человеческом языке... О, как она была права в своих самых крайних требованиях, как она верно предчувствовала, что должно было неизбежно случиться при моем тупом непонимании того, что составляло жизненное для нее условие! Сколько раз говорила она мне, что придет для меня время страшного, беспощадного, неумолимо-отчаянного раскаяния, но что будет поздно. Я слушал ее и не понимал. Я, вероятно, полагал, что так как ее

любовь была беспредельна, так и жизненные силы ее неистоимы – и так пошло, так подло на все ее вопли и стоны отвечал ей этой глупой фразой: «Ты хочешь невозможного...»

Впрочем, уже через два года после смерти Денисьевой Тютчев вновь влюбился, на этот раз в ее близкую подругу – сорокапятилетнюю вдову Е. К. Богданову, урожденную баронессу Услар. Конечно, поэт понимал, что эта столь уже поздняя любовь вряд ли принесет ему счастье, но сил не было отказаться от чувств, которые волновали его до самой смерти.

В 1854 году вышел в свет первый сборник стихов Тютчева, подготовленный И. С. Тургеневым. В специальной статье Тургенев очень высоко оценивал стихи поэта, однако сам Тютчев судьбой их не очень утруждался. Он не только не читал корректур, он вообще старался отстраниться от дел издания. Когда начальник Главного управления по делам печати указал цензору на то, что в книге Тютчева есть стихотворение, которое «заключает брань, обращенную и к Австрийскому эрцгерцогу и к царствующей династии Габсбургов», – предупрежденный о необходимости убрать из сборника указанное стихотворение Тютчев лишь раздраженно заявил, что ему до всего этого дела нет, пусть делают со стихами, что хотят, сам он знать ничего не желает! Даже дочери, в марте 1868 года, Тютчев писал (по случаю выхода книги «Стихотворения»): «По-видимому, мне суждено было испытать на себе истину изречения, что человека предает домашний его, – и вот на такого-то рода предательство, без сомнения совершенно неумышленное, я собираюсь тебе жаловаться. Речь идет о только что появившемся, весьма ненужном и весьма бесполезном издании сборника виршей, которые были бы годны разве лишь на то, чтобы их забыли. Но так как, несмотря на все отвращение, которое я принципиально к этому питал, я кончил тем, что дал свое согласие – из чувства лени и безразличия, то потому и не имею права на это сетовать. Все же я имел основание надеяться, что издание будет сделано с известным разбором и что не напихают в один жиденький томик целую кучу мелких стихотворений „на случай“, всегда представлявших лишь самый преходящий интерес данного момента; вновь же воспроизведенные, они тем самым становятся совершенно смешными и неуместными. Я отделаюсь тем, что окажусь в роли тех жалких рифмачей, которые по-дурацки влюблены в малейший вырвавшийся у них стишок, – и хотя я, пожалуй, и не совсем в таком положении, но уж примирюсь, без особого труда, из одного отвращения и безучастия, даже с этой нелепой бессмыслицей. Однако то, что в этой несчастной книжонке воспроизвели несколько строк по адресу князя Вяземского, позаботившись проставить в заголовке его имя, его собственное имя! – это, признаюсь, уже слишком... И я настоятельно умоляю, чтобы, если возможно, избавили меня от неминуемых последствий этой проделки. Я попытаюсь временно приостановить продажу издания у здешних книготорговцев до тех пор, пока не исправят эту удивительную оплошность, сохранив, если возможно, злосчастное стихотворение, но без упоминания Вяземского».

В свое оправдание И. С. Аксаков, готовивший сборник «Стихотворения», писал: «Не было никакой возможности достать подлинников руки поэта для стихотворений еще ненапечатанных, ни убедить его просмотреть эти пьесы в тех копиях, которые удалось добыть от разных членов его семьи, частью от посторонних. Между тем некоторые из этих копий были ошибочны или не согласны между собой. Пришлось выбирать лучшие в печать без всякого участия со стороны самого автора».

В 1857 году Тютчев подал в официальные сферы докладную записку «Письмо о цензуре в России», в которой яростно доказывал, что нельзя налагать на умы безусловное и слишком продолжительное стеснение и гнет без существенного вреда для всего общественного организма. Как бы в ответ на эту записку, в следующем году Тютчев был назначен председателем Комитета цензуры иностранной, каковую должность и исполнял до самой смерти.

«Низенький, худенький старичок, – писал о Тютчеве М. Погодин, – с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни с одною пуговицей, застегнутой как надо, вот он входит в ярко освещен-

ную залу; музыка гремит, бал кружится в полном разгаре. Старичок пробирается нетвердою поступью близ стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук. Из угла прищуренными глазами окидывает все собрание. Он ни на чем и ни на ком не остановился, как будто б не нашел, на что бы нужно обратить внимание... К нему подходит кто-то и заводит разговор... Он отвечает отрывисто, сквозь зубы, смотрит рассеянно по сторонам, кажется, ему уж стало скучно: не думает ли он уйти назад... Подошедший сообщает новость, только полученную; слово за слово, его что-то задело за живое, он оживляется, и потекла потоком речь увлекательная, блистательная, настоящая импровизация, ее надо бы записать... Вот он роняет, сам не примечая этого, несколько выражений, запечатленных особенною силой ума, несколько острог, едких, но благоприличных, которые тут же подслушиваются соседями, передаются шепотом по всем гостиным, а завтра охотники спешат поднести их знакомым, как дорогой гостинец: Тютчев вот что вчера сказал на балу у княгини N...»

Во время последней болезни поэта император Александр II выразил желание навестить его. Известно, что Тютчев с присущим ему остроумием заметил, что такая новость приводит его в смущение, ибо будет крайне неделикатно, если он не умрет прямо на другой день после царского посещения. В минуты просветления (болезнь протекала чрезвычайно мучительно) он жадно расспрашивал дежуривших при нем о текущих политических делах. Уже после того как священник прочитал над ним отходную, Тютчев вдруг приоткрыл глаза: «Какие получены подробности о взятии Хивы?»

Умер 15 (27) июля 1873 года.

7 декабря 1899 года секретарь Льва Толстого А. Б. Гольденвейзер занес в дневник следующую запись: «На столике у него лежал том Тютчева. Заговорили о Тютчеве. На днях Л. Н. попало в „Новом времени“ его стихотворение „Сумерки“. Он достал по этому поводу их все и читал больной. Л. Н. сказал мне: „Я всегда говорил, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет – это истинное искусство; или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать его без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его“. Л. Н. начал прерывающимся голосом: „Тени сизые смешались...“ Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Л. Н. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал чтение и начинал сызнава. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: „Все во мне и я во всем...“, – голос его оборвался. Приход А. Н. Дунаева (друг семьи Толстых) остановил чтение. Он немного успокоился. „Как жаль, я вам испортил стихотворение“, – сказал он мне немного погодя».

Николай Алексеевич Некрасов

*Вчерашний день, часу в шестом,
Зашел я на Сенную;
Там били женщину кнутом,
Крестьянку молодую.
Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя...
И Музе я сказал: «Гляди!
Сестра твоя родная!»*

Родился 28 (10. XII) ноября 1821 года в местечке Немиров Подольской губернии. Детские годы провел на Волге, в родовой усадьбе отца, бывшего офицера, убежденного крепостника, в селе Грешневе Ярославской области. Многим обязан матери – Елене Андреевне, урожденной Закревской, человеку редкого обаяния, выпускнице Виленского женского института, знавшей языки, любившей музыку. Может поэтому, считал поэт К. Бальмонт, Некрасов первый в русской поэзии оставил столь впечатляющие портреты женщин.

В 1838 году, оставив гимназию, уехал в Петербург с рекомендательным письмом для поступления в Дворянский полк – одно из лучших военно-учебных заведений того времени. На военной карьере настаивал отец, но Некрасову служить совсем не хотелось. Дважды – в 1839 и 1840 годах – он пытался поступить в университет; к сожалению, слабая подготовка не позволила ему сдать экзамены. К тому же, отец отказал в поддержке, пришлось зарабатывать на жизнь. «Ровно три года, – вспоминал позже Некрасов, – я чувствовал себя постоянно, каждый день голодным. Приходилось есть не просто плохо, не только впроголодь, но и не каждый день».

В 1838 году в журнале «Сын Отечества» появилось первое печатное стихотворение Некрасова «Мысль», а в 1840 году он выпустил целую книжку («Мечты и звуки»), подписав ее инициалами *Н. Н.* «Прочесть целую книгу стихов, – безжалостно писал Белинский, – встречать в них все знакомые и истертые чувствованьица, общие места, гладкие стишки и много-много, если наткнуться иногда на стих, вышедший из души в куче рифмованных строчек, – воля ваша, это чтение или, лучше сказать, работа для рецензентов, а не для публики. Посредственность в стихах нестерпима. Вот мысли, на которые навели нас „Мечты и звуки“ г. *Н. Н.*».

Покупателей на книжку не нашлось.

Какое-то время Некрасов стихов почти не писал, зато один за другим выходили в печати его рассказы, повести, водевили, сказки, статьи, рецензии, куплеты для бенефисов. Под псевдонимами Н. Перепельский, Ф. Боб, И. Пружинин, Ф. Белопяткин, Александр Бухалов Некрасов напечатал огромное количество подобных творений. Но в эти же годы по его инициативе вышли альманахи – «Физиология Петербурга» и «Петербургский сборник». «Уму непостижимо, сколько я работал. Полагаю, не преувеличу, если скажу, что в несколько лет исполнил до двухсот печатных листов журнальной работы». Даже Белинский, нещадно ругавший первые стихи Некрасова, заметил однажды на обеде у А. Я. Панаевой: «Эх, господа! Вы вот радуетесь, что проголодались и с аппетитом будете есть вкусный обед, а Некрасов чувствовал боль в желудке от голода, и у него черствого куска хлеба не было, чтобы заглушить эту боль! Вы все дилетанты в литературе, а я на себе испытал поденщину. Вон мне давно пора приняться за разбор глупых книжонок, а я отлыниваю, хочется писать что-нибудь дельное, к чему лежит душа, а не нет, надо притуплять свой мозг над пошлостью, тратить свои

силы на чепуху. Если бы у меня было что жрать, так я бы не стал изводить свои умственные и физические силы на поденщине... Я дам голову на отсечение, что у Некрасова есть талант и, главное, знание русского народа, непониманием которого мы все отличаемся...»

«Первый раз я увидела Некрасова в 1842 году зимой, – писала А. Я. Панаева, прожившая с поэтом более пятнадцати лет. – Некрасов, видимо, был сконфужен при начале чтения; голос у него был всегда слабый, и он читал очень тихо, но потом разошелся. Некрасов имел вид болезненный и казался на вид гораздо старше своих лет, манеры у него были оригинальные: он сильно прижимал локти к бокам, горбился, а когда читал, то часто машинально приподнимал руку к едва пробивавшимся усам и, не дотрагиваясь до них, опускал опять ее. Этот машинальный жест так и остался у него, когда он читал свои стихи...»

В 1847 году Некрасов совместно с литератором И. И. Панаевым взял в аренду журнал «Современник» (бывший пушкинский). «Слухи о намерении издавать „Современник“ породили толки в разных литературных кружках, – вспоминала Панаева. – Сначала многие не верили, но потом стали смеяться, говоря, что ничего дельного не выйдет из планов Некрасова и Панаева. Белинскому передавали эти сплетни, и он говорил: „Пусть их смеются и не верят, а как мы им преподнесем первый номер „Современника“, так позеленеют от злости“ Некрасов велел печатать объявления об издании „Современника“ в громадном числе; они помещались почти во всех тогдашних журналах и газетах. Панаев находил, что это стоит дорого и вовсе не нужно, но Белинский ему возражал: „Нам с вами нечего учить Некрасова; ну, что мы смыслим! Мы младенцы в коммерческом расчете: сумели ли бы мы с вами устроить такой кредит в типографии и с бумажным фабрикантом, как он? Нам на рубль не дали бы кредиту, а он устроил так, что на тысячи может кредитоваться...“

К работе в «Современнике» Некрасов действительно привлек лучшие литературные силы страны – В. Белинского, А. Герцена, А. Островского, М. Салтыкова-Щедрина, здесь печатались рассказы И. Тургенева, здесь появилась «Обыкновенная история» И. Гончарова и первая повесть Льва Толстого. Позже вокруг журнала сплотились народники – Н. Помяловский, В. Слепцов, Н. Успенский, Ф. Решетников, Н. Успенский и другие. В итоге некрасовский «Современник», как прежде, пушкинский, несомненно, стал лучшим журналом России.

В 1856 году Некрасов выпустил книгу своих собственных стихотворений. Известный критик и писатель Н. Г. Чернышевский писал в Италию, где лечился поэт: «Сочувствие публики к Вам очень сильное – сильнее, нежели предполагал даже я, упрекаемый Вами в пристрастии к вашим стихотворениям. Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, едва ли „Ревизор“ или „Мертвые души“ имели такой успех, как Ваша книга...» А Белинский так объяснял успех поэта: «Для искусства нет более благородного и высокого предмета, как человек, – а чтобы иметь право быть изображенным искусством, человеку нужно быть человеком, а не чиновником 14 класса, или дворянином. И у мужика есть душа и сердце, есть желания и страсти, есть любовь и ненависть, словом – есть жизнь. Но чтоб изобразить жизнь мужиков, надо уловить, как мы уже сказали, идею этой жизни. И тогда в ней не будет ничего грубого, пошлого, плоского, глупого...»

«На моих глазах, – писала Панаева, – произошло почти сказочное превращение в наружной обстановке и жизни Некрасова. Конечно, многие завидовали Некрасову, что у подъезда его квартиры по вечерам стояли блестящие экипажи очень важных особ; его ужинами восхищались богачи-гастрономы; сам Некрасов бросал тысячи на свои прихоти, выписывал себе из Англии ружья и охотничьих собак; но если бы кто-нибудь видел, как он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему все опротивело в жизни, а главное – он сам себе противен, то, конечно, не позавидовал бы ему.

Стихотворение «У парадного подъезда» было написано Некрасовым, когда он находился в хандре. Он лежал тогда целый день на диване, почти ничего не ел и никого не принимал к себе. Накануне того дня, когда было написано это стихотворение, я заметила Некрасову, что давно уже не было его стихотворений в «Современнике». – «У меня, – ответил он, – нет желания писать стихи для того, чтобы прочесть двум-трем людям и спрятать их в ящик письменного стола. Да и такая пустота в голове: никакой мысли подходящей нет, чтобы написать что-нибудь».

На другое утро я встала рано и, подойдя к окну, заинтересовалась крестьянами, сидевшими на ступеньках лестницы парадного подъезда в доме, где жил министр государственных имуществ. Была глубокая осень, утро было холодное и дождливое. По всем вероятностям, крестьяне желали подать какое-нибудь прошение и спозаранку явились к дому. Швейцар, подметая лестницу, прогнал их; они укрылись за выступом подъезда и переминались с ноги на ногу, прижавшись у стены и промокая на дожде. Я пошла к Некрасову и рассказала ему о виденной мной сцене. Он подошел к окну в тот момент, когда дворники дома и городской гнали крестьян прочь, толкая их в спину. Некрасов сжал губы и нервно пощипывал усы; потом быстро отошел от окна и улегся опять на диване. Часа через два он прочел мне стихотворение «У парадного подъезда»...

Некрасов писал прозу, сидя за письменным столом и даже лежа на диване, – писала Панаева, – стихи же сочинял, большей частью, прохаживаясь по комнате, и вслух произносил их; когда он оканчивал все стихотворение, то записывал его на первом попавшемся под руку лоскутке бумаги. Он делал мало поправок в своих стихах. Если он сочинял длинное стихотворение, то по целым часам ходил по комнате и все вслух однообразным голосом произносил стихи; для отдыха он ложился на диван, но не умолкал; потом снова вставал и продолжал ходить по комнате. Некрасов мог прочесть наизусть любое из своих стихотворений, когда бы то ни было сочиненных, и как бы оно ни было длинно, он не останавливался ни на одной строфе, точно читал по рукописи. Впрочем, он помнил наизусть массу стихотворений и других русских поэтов...»

В 1862 году был арестован Чернышевский. Тогда же на восемь месяцев цензура приостановила выпуск «Современника». Впрочем, по возобновлению выпуска журнала Некрасов сразу начал печатать знаменитый роман Чернышевского «Что делать?» – «Отрадно констатировать, – писал об этом случае писатель В. Набоков, – что тогда какая-то тайная сила все-таки решилась попробовать хотя бы от этой беды Чернышевского спасти. Ему приходилось особенно тяжело, – как было не сжалиться? 28-го числа, из того, что начальство, раздраженное его нападками, не давало ему свидания с женой, он начал голодовку; голодовка была еще тогда в России новинкой, а экспонент попался нерасторопный. Караульные заметили, что он чахнет, но пища как будто съедается. Когда же дня через четыре, пораженные тухлым запахом в камере, сторожа ее обыскали, то выяснилось, что твердая пища пряталась между книг, а щи выливались в щели. В воскресенье, 3 февраля, во втором часу дня, врач крепости, осмотрев арестанта, нашел, что он бледен, язык довольно чистый, пульс несколько слабее, – и в этот же день, в этот час Некрасов, проездом на извозчике от гостиницы Демута к себе домой, на угол Литейной и Бассейной, потерял сверток, в котором находились две прошнурованные по углам рукописи с заглавием „Что делать?“ Припомнив с точностью отчаяния весь свой маршрут, он не припомнил того, что, подъезжая к дому, положил сверток рядом с собой, чтобы достать кошелек, – а тут как раз сани сворачивали... скрежетание отнота... и „Что делать?“ незаметно скатилось: вот это и была попытка тайной силы – в данном случае центробежной – конфисковать книгу, счастливая судьба которой должна была так губительно отразиться на судьбе ее автора. Но попытка не удалась: на снегу, у Мариинской больницы, розовый сверток поднял бедный чиновник, обремененный большой семьей. Придя восвояси, он надел очки, осмотрел находку... увидел, что это начало какого-то сочинения и не

вздрыгнув, не опалив вялых пальцев, отложил. „Уничтожь!“ – напрасно молил безнадежный голос. В „Ведомостях Санкт-Петербургской городской полиции“ напечатано было объявление о пропаже. Чиновник отнес сверток по означенному адресу, за что и получил обещанное: пятьдесят рублей серебром...».

Выезжая на охоту в Новгородскую губернию, Некрасов привозил оттуда не только охотничьи трофеи. «В три мои последние поездки туда, – писал он Тургеневу, – убил я поболее сотни белых и серых куропаток и глухарей, не считая зайцев, и услышал одно новое словечко, которое мне очень понравилось, – *паморха*. Знаешь ли ты, что это такое? Это мелкий-мелкий, нерешительный дождь, сеющий, как сквозь сито, и бывающий летом. Он зовется *паморхой* в отличие от изморози, идущей в пору более холодную...»

Тогда же Некрасов был принят в члены Английского клуба. «Ты ведь понятия не имеешь о светских женщинах, – долго уговаривал его Тургенев, – а они одни только могут вдохновлять поэта. Почему Пушкин и Лермонтов так много писали? Потому что постоянно вращались в обществе светских женщин. Я сам испытал, как много значит изящная обстановка женщины для нас – писателей. Сколько раз мне казалось, что я до безумия влюблен в женщину, но вдруг от ее платья дохнет кухонным чадом, – и вся иллюзия пропала! А в салоне светской женщины ничто не нарушит твоего поэтического настроения, от каждого грациозного движения светской женщины ты вдыхаешь тончайший аромат, вокруг все дышит изяществом. Ты погубишь свой талант, живя сурком, вследствие этого и выходит у тебя слишком однообразный тон и содержание стихов. А когда будешь вращаться в порядочном обществе, попадешь в салон светской женщины, посмотри как вдохновишься! Баллотируйся, послушайся меня. Да и для журнала это полезно, будут говорить, что ты не прячешься от общества...»

«Некрасов в это время, – писала Панаева, – начал чувствовать боль в горле и страшно хандрить. Мне иногда удавалось упросить его не ехать в клуб обедать, потому что он там засиживался за картами и возвращался домой поздно ночью. Но являлся Тургенев и уговаривал его ехать в клуб. Именно для того, чтобы сесть играть в карты. „При твоём счастье и умении играть в карты, – говорил он, – я бы каждый вечер играл. Ведь на полу не найдешь двухсот рублей. Вот тебе на счастье двугривенный, поезжай! Да и мрачное расположение духа у тебя пройдет. Одевайся и едем вместе“. Некрасов всегда слушался советов Тургенева, который на другое утро прибежал узнавать о результате игры Некрасова и говорил ему: „Ты должен благодарить меня, что я тебя вчера силою прогнал в клуб. Не слушай ты никого, а играй. Все в клубе говорят, что ты играешь во все игры отлично и, главное, сдержан. Знаешь ли ты, что если бы у тебя было в руках тысяч десять, ты бы много выиграл денег. Получи я завтра наследство, я сейчас бы тебе дал десять тысяч на игру. От нашей паршивой литературы ждешь, брат, нечего! Что тебе дало журнальное дело? Долги. А сколько труда потрачено на это дело, сколько испорчено крови! Русские писатели – это каторжники. У меня впереди есть наследство, а у тебя что? Последние силы своего здоровья тратишь, а получаешь шиш! И как приятно писать, зная заранее, что наша тупоумная цензура поставит красный крест! Лежат у тебя несколько твоих стихотворений и без конца пролежат, потому что их не дозволят никогда напечатать. Ведь мы не европейские литераторы, а татарские, нам нечего рассчитывать ни на почет, ни на обеспечение от литературы. Пушкин тоже вел большую игру, а тогда на писателей еще не смотрели как на прокаженных, от которых надо сторониться“.

В 1866 году, после покушения Каракозова на Александра II, журнал «Современник» был закрыт. На этот раз окончательно. Хвалебные стихи, обращенные к Муравьеву, усмирителю польского восстания, сочиненные Некрасовым и прочтенные им на обеде в Английском клубе, журналу не помогли. Не спасла «Современник» и торжественная ода, написанная Некрасовым в честь мастерового из крестьян Костромской губернии О. Комиссарова, помешавшего Каракозову сделать верный выстрел. Позже Некрасов каялся в этих своих отступ-

лениях: *«Не торговал я лирой, но бывало, когда грозил неумолимый рок, у лиры звук неверный исторгала Моя рука...»*

С присушим ему упорством, Некрасов начинает переговоры о передаче в его руки журнала «Отечественные записки», издаваемого Краевским, и добивается успеха: в 1868 году журнал начинает выходить в свет – уже под редакцией Некрасова и Салтыкова-Щедрина.

«О слезы женские, с придачей нервических, тяжелых драм! Вы долго были мне задачей, я долго слепо верил вам... Кто ей теперь флакон подносит, застигнут сценой роковой? Кто у нее прощенья просит, вины не зная за собой? ... Кто сам трясется в лихорадке, когда она к окну бежит в преувеличенном припадке и „ты свободен!“ говорит? ... Кто боязливо наблюдает, сосредоточен и сердит, как буйство нервное стихает и переходит в аппетит? ... Кто ночи трудные проводит, один, ревнивый и больной, а утром с ней по лавкам бродит, наряд торгуя дорогой?»

Казалось, редакционная работа отнимала все силы поэта, к тому же очень больного, но именно в последние годы Некрасов написал едва ли не лучшие, и уж в любом случае самые объемные свои поэмы: «Дедушка», «Русские женщины», «Современники», книгу стихов «Последние песни», наконец, знаменитую поэму «Кому на Руси жить хорошо», начатую еще в шестидесятых. К сожалению, это огромное произведение так и осталось незавершенным, хотя именно незавершенность придает поэме какую-то странную особенность, даже загадочность. Неясная последовательность частей, разноречивые указания самого Некрасова об основном замысле поэмы, делает ее текучей, открытой, как сама жизнь, и в чем-то такой же неопределенной.

Годы идут, тяжелая болезнь все чаще укладывает поэта в постель.

Из далекого Вилюйска сосланный туда Чернышевский писал А. Н. Пыпину: «Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэтов...»

Прозвучало письмо Чернышевского как некролог: 27 (8.I) декабря 1877 года Некрасов умер. «Громадная толпа, по крайней мере в три-четыре тысячи человек, – писали газеты, – сопровождала гроб поэта, который до самого кладбища был несен на руках. Большая часть этой толпы состояла из учащейся молодежи и литераторов. Кроме того, множество почитателей и поклонников покойного положительно всех званий и всякого состояния, не исключая и простых крестьян, шли за гробом народного поэта. По уверению старожилов, подобная многолюдна процессия была только на похоронах Крылова...»

Аполлон Николаевич Майков

*О Боже! Ты даешь для родины моей
Тепло и урожай, дары святого неба, —
Но, хлебом золотя простор ее полей,
Ей также, Господи, духовного дай хлеба!*

Родился 23 (4. VI) мая 1821 года в Москве.

Отец – известный художник. В богатом гостеприимном доме Майковых бывали Тургенев и Панаев, Плетнев и Бенедиктов, Григорович и Достоевский. Отец с удовольствием помогал сыновьям выпускать детский журнал «Подснежник», а наставлял их в литературе И. А. Гончаров, автор романа «Обломов».

В 1837 году Майков поступил в Петербургский университет. Незнание греческого языка не позволило ему заниматься на филологическом факультете, пришлось выбрать юридический. От занятий живописью, которой он всерьез увлекался, к этому времени пришлось отказаться из-за ухудшающегося зрения, зато поэзия захватывала его все больше. В 1840 году в «Одесском альманахе» даже появились два его стихотворения под лаконичным псевдонимом – М.

По окончании университета Майкова зачислили на службу в департамент государственного казначейства. В 1842 году, на средства, отпущенные царским двором, он вместе с отцом отправился в Европу. Почти год прожил во Франции, в Германии, в Италии. Из Рима приезжал в Париж, чтобы слушать лекции в Сорбонне и в Колледж де Франс, в Риме устраивал вечера для живших там русских художников. «С удовольствием вспоминаю, – писал живописец В. Е. Раев, – о тех приятных вечерах. Юный поэт Майков услаждал в эти вечера всех присутствующих чтением прекраснейших своих стихотворений». Увлечшись идеями славянофилов, на обратном пути в Россию Майков останавливался в Праге, где общался с известными славистами В. Ганке и Шафариком.

В 1842 году вышел в свет первый сборник Майкова – «Стихотворения». («На днях получил „Стихотворения Аполлона Майкова“, – писал Плетнев филологу Я. К. Гроту. – Он учился у нас в университете. Эта книга меня усладила. Кажется, я читал идеи Дельвига, переданные стихами Пушкина».) В 1847 году – «Очерки Рима», стихи которого были навеяны Италией. Даже строгий Белинский сразу проникся прелестью антологических мотивов молодого поэта. Да и трудно было не заметить столь гармоничных стихов в эпоху, когда ушли Пушкин и Лермонтов, смолкли Языков и Баратынский, окончательно покинул Россию Жуковский, а новое поколение – А. Фет, А. Григорьев – еще только начинало путь.

В отличие от большинства русских поэтов – истинных пророков и апостолов, Майков никогда не знал ни бедности, ни каких-либо преследований. «Вся моя биография, – писал он, – не во внешних фактах, а в ходе и развитии внутренней жизни, в ходе расширения моего внутреннего горизонта, в укреплении взгляда на жизненные вопросы, нравственные, умственные, политические, во внутренней работе ума... Все прочее – вздор, труха, формуляр...»

В 1844 году Майков занял место помощника библиотекаря при Румянцевском музее, находившемся тогда в Петербурге. «С наступлением весны семья Майкова обычно перебиралась на дачу близ станции Сиверской Варшавской железной дороги, около 60 верст от Петербурга, – вспоминал литератор Е. Н. Опочинин. – Как известно, поэт был страстный рыболов и в Сиверскую привлекала его быстрая и говорливая речка Оредеж, стремящая свои прозрачные воды между крутыми красноглинистыми берегами. Здесь много укромных местечек

было излюблено А. Н. Майковым, и многие часы на восходе и на закате солнца проводил он здесь с удочкою в руках...»

В 1852 году, после перевода Румянцевского музея в Москву, Майков перешел в Комитет иностранной цензуры. Здесь он проработал почти полвека, дослужившись до высокого чина действительного статского советника. Убежденный монархист, славянофил, законопослушник, он никогда не скрывал своих верноподданнических чувств. В годы Крымской кампании пел неумеренные хвалы Николаю I, позднее восторженными стихами откликнулся на чудесное спасение наследника (будущего императора Николая II), которого во время визита в Японию ударил саблей японский полицейский. Столь же восторженно принял Майков крестьянскую реформу 1861 года, спущенную сверху. Поэт Е. Щербина, с удивлением следивший за всеми этими движениями поэта, не мог удержаться от злых эпиграмм. *«Он Булгарин в „Арлекине“, а в „Коляске“ Дубельт он, так исподличался ныне петербургский Аполлон».* Сам Майков, впрочем, в письме к М. Златовратскому объяснял свои метания причинами простыми: «Около этого времени (1851) познакомился я с молодою редакцией „Москвитянина“, с Аполлоном Григорьевым, Островским, Писемским, Эдельсоном и с самим Погодиным, со славянофилами. Здесь показалось мне более правды, чем в западническом наклоне; не приняв кое-что из идей старых славянофилов, я не мог вполне принять их учения. Принял основы, почуяв в них историческую правду, но отверг выводы как фантастические и отвергающие историю, а с ней и целую российскую империю. На почве славянофилов, но с твердою идеей государства, и с полным признанием послепетровской истории были тогда Погодин и Катков: это цельно, это органически разумно, и это меня сблизило с ними...»

В 1882 году за философско-лирическую драму «Два мира» Академия наук удостоила Майкова Пушкинской премией. Стихотворение Майкова «Кто он?», посвященное Петру I, десятилетиями входило и, кажется, и сейчас входит во все школьные хрестоматии, как дореволюционного, так и советского периода. Думается, что многие помнят и другие хрестоматийные строки Майкова: *«Золото, золото падает с неба!» – дети кричат и бегут за дождем... «Полноте, дети, его мы сберем, только сберем золотистым зерном в полных амбарах душистого хлеба!»*

«Майков при мне читал только раз, – вспоминала З. Н. Гиппиус. – Он читал очень хорошо. Был сухой, тонкий, подобранный, красивый, с холодно-умными, пронзительными глазами. В чтении его была та же холодная пронзительность и усмешка. Особенно помнится она мне вот в этих двух строках (из стихотворения „Дож и догаресса“): *«Слышит – или не слышит? Спит – или не спит?»*. Удивительно читал он и «Три смерти»: *«Простите, гордые мечтанья, осуществить я вас не мог. О, умираю я как Бог средь начатого мирозданья!»*. Конечно, Майков был самый талантливый из всей плеяды поэтов того времени. Какой-то одной, нежной, черточки не хватало его дарованию: оттого, вероятно, он и забыт был так скоро и никогда не был любим, как Фет, например, который, по-моему, куда ниже...»

Главным делом искусства Майков считал выявление прекрасного. Искусству, утверждал он, нет дела ни до чего низменного, только красота и любовь неподвластны тлению. Античные барельефы казались Майкову более рельефными, чем образы, возникающие из живой действительности. «Мы принадлежим к детству, – писал он, – которое не от мира сего. Царство толпы меняется, подчиненное моде и времени, а наше – вечно». Белинский не без удивления заметил однажды, что Майков как бы смотрит на жизнь глазами грека. «Прямые, седеющие, но еще с большой темнотой волосы его (Майкова) лежали непослушными прядками на голове, – вспоминал Опочинин, – вокруг щек с подбородком свисала и кругами вилась аккуратная борода, из-за толстых очков смотрели пристально многодумные глаза. Все было просто и в то же время необычайно сложно в этой фигуре. Казалось, что такие люди попадают на каждом шагу. Но стоило заговорить ему – и вы начинали думать, что Аполлон Николаевич Майков один на целом свете. В обращении его была какая-то сухость

или, может быть, строгость, но это не отталкивало от него, а наоборот, привлекало, словно темный блеск старого золота. Какая-то значительность была в каждом его жесте, в каждом движении. Ни одно слово, срывавшееся с его губ, не могло замереть в воздухе, не приковав к себе вашего внимания. Мне казалось, что таковы именно были пророки и апостолы...»

Много лет Майков работал над грандиозной драмой о столкновении языческой и христианской цивилизаций, правда, выполнить успел только четыре части: драмы «Олинф и Эсфирь», «Три смерти», «Смерть Люция» и «Два мира».

Четыре года отдал Майков «Слову о полку Игореве».

Об особом отношении к этой древней русской поэме Майков признался в предисловии к переводу «Слову»: «Несмотря на семь веков, отделяющих нас от его певца, – писал он, – он (певец) чрезвычайно близок к нынешней нашей литературе. Его поэма точно зародыш, таящий в себе все лучшие качества последней. В этих образах князей Остромысла Галицкого, от престола которого грозы текут по землям, Всеволода Суздальского, что „мог бы Волгу веслами раскропить, а Дон шеломами вылить“, Романа, что в замыслах возносится широко, что Сокол ширяся на ветрах, высматривая добычу, – слышится что-то родственное державинским изображениям Екатерининских орлов. В описании битв тоже. Во всем здоровом тоне поэмы, в этом кованном языке, на который древность наложила какую-то свою особую, вековую печать, в этой поэзии действительности – как бы чувствуется пушкинская стройность, определенность, сдержанность и меткость выражений. Далее эти описания природы, эта жизнь степи в ее мрачном виде, вся эта прелестная идиллия бегства Игоря, эти „дятлы тётком путь к реке казуют“, вся речь Игоря к Донцу – как лелеял князя на серебряных берегах своих, – во всем этом таится как бы зародыш лучших страниц Тургенева... Чувствуется, несмотря на перерыв многих веков, один и тот же гений в творчестве лучших людей тогда и ныне...»

Литератор П. П. Перцов, хорошо знавший поэта, оставил живые записи о невысоком, сухощавом старике с худым лицом и длинными серебристыми волосами и бородой, который непрерывно «...вскакивал, тушил и зажигал папиросы, и почти бегал вдоль стола и комнаты. Эта живость движений еще дополнялась ярким, молодым огнем прекрасных карих (хотя и полузакрытых очками) глаз. По этому впечатлению какой-то вечной юности Майкову, казалось бы, надо дожить до ста лет. Никогда, ни раньше, ни после, я не слышал лучшего чтения. Он читал чрезвычайно просто, медленно и выразительно, и в то же время сохранял весь ритм и движение стиха».

Умер 8 (20) марта 1897 года в Петербурге.

Алексей Константинович Толстой

*Средь шумного бала, случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.
Лишь очи печально глядели,
А голос так дивно звучал,
Как звон отдаленной свирели,
Как моря играющий вал.
Мне стан твой понравился тонкий
И весь твой задумчивый вид;
А смех твой, и грустный и звонкий,
С тех пор в моем сердце звучит.
В часы одинокие ночи
Люблю я, усталый, прилечь —
Я вижу печальные очи,
Я слышу веселую речь;
И грустно я так засыпаю,
И в грезах неведомых сплю...
Люблю ли тебя — я не знаю,
Но кажется мне, что люблю!*

Родился 24 (5. IX) августа 1817 года в Петербурге.

По матери — правнук Кирилла Разумовского, последнего гетмана Украины, президента Российской Академии наук, по отцу — потомок старинного известного рода. Детство провел в Черниговской губернии в имении матери Красный Рог, а затем ее брата А. А. Перовского, известного прозаика, выступавшего под псевдонимом Антон Погорельский. «Мое детство, — писал позже поэт, — было очень счастливо и оставило во мне одни только светлые воспоминания. Единственный сын, не имевший никаких товарищей для игр и наделенный весьма живым воображением, я очень рано привык к мечтательности, вскоре превратившейся в ярко выраженную склонность к поэзии. С шестилетнего возраста я начал мараить бумагу и писать стихи — настолько поразили мое воображение произведения лучших наших поэтов, найденные мною в каком-то толстом, плохо отпечатанном и плохо сброшюрованном сборнике. Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику. Мои первые опыты были, без сомнения, нелепы, но в метрическом отношении они отличались безупречностью».

В 1827 году с матерью и дядей побывал в Германии. Познакомился с Гёте, разговаривал с ним, даже получил подарок — обломок бивня мамонта, украшенный собственноручным рисунком поэта. В 1831 году много ездил по Италии, вел подробный художественный дневник. «В очень короткое время я научился отличать прекрасное от посредственного, выучил имена всех живописцев, всех скульпторов и почти мог соревноваться со знатоками в оценке картин и изваяний. При виде картины я мог всегда назвать живописца и почти никогда не ошибался».

В 1834 году Толстого определили «студентом» в Московский архив Министерства иностранных дел, где обычно начинали карьеру отпрыски самых известных российских родов, а через два года он был прикомандирован к русской дипломатической миссии во

Франкфурте-на-Майне. Светский лев, красавец, остроумец, любитель веселья и бесконечных розыгрышей, тонкий ценитель искусства, Толстой и в Европе ни минуты не сидел без дела на месте, старался увидеть и услышать как можно больше. Всех этих качеств не потерял он и в России, когда в конце 1840 года его перевели во Второе отделение канцелярии Николая I, ведавшее вопросами законодательства. Дружеские отношения с великим князем Александром, будущим царем Александром II, позволили поэту сделать стремительную придворную карьеру: при царе Александре II он был уже флигель-адъютантом, а затем царским егермейстером.

В 1841 году отдельной книгой (под псевдонимом *Краснорогский*) вышла в свет фантастическая повесть Толстого «Упырь». Книгу заметили, казалось, автор должен был бы пытаться развить успех. «Писатель, чувствующий в себе искру поэтического таланта, – объяснял литературные особенности той эпохи Некрасов, – непременно раздувал бы ее сколько возможно, лелеял бы свой талант, как говорили в старину. Но поэту нашего времени этого мало. И, сознавая, что в наше время только поэтический талант, равный Пушкину, мог бы доставить автору и Славу и Деньги, он предпочитает распорядиться иначе: поэтическую искру свою разводит на множество прозаических статей: он пишет повести, рецензии, фельетоны и, получая за них с журналистов хорошие деньги, без сожаления видит, как поэтическая его способность его с каждым годом уменьшается». К счастью, ни деньги, ни слава особенно не волновали Толстого. Охота, литературные вечера, светские балы занимали его время – он успевал всюду. *«Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку, коль ругнуть, так сгоряча, коль рубнуть, так уж сплеча! Коли спорить, так уж смело, коль карать, так уж за дело, коль простить, так всей душой, коли пир, так пир горой!»* Этот принцип действительно отвечал его характеру.

В январе 1851 года на балу Толстой познакомился с Софьей Андреевной Миллер, женой конногвардейского полковника Л. Ф. Миллера. Софье Андреевне посвящены самые сокровенные строки Толстого. То, что их встреча вовсе не случайна, они поняли сразу, но соединиться им удалось только через несколько лет, в 1858 году, поскольку муж Софьи Андреевны не хотел давать ей развода, а главное, против такого брака была настроена мать Толстого. «Анна Алексеевна, – писал А. М. Жемчужников, близкий друг и родственник Толстого, побывавший в Красном Роге у Толстых в 1852 году, – была очень рада видеть меня, и всею душою интересовалась узнать мое впечатление и мнение о Софье Андреевне, с которой сошелся ее сын и к которой серьезно и сильно привязался. Ее душа не только не сочувствовала той связи, но была глубоко возмущена и относилась с полным недоверием к искренности Софьи Андреевны. Не раз у меня, тайно от сына, были беседы об этом, и она, бедная, говорила, а слезы так и капали из глаз ее. Меня она обвиняла более всех, как человека самого близкого и наиболее любимого ее сыном и раньше моих братьев познакомившегося с Софьей Андреевной. Я стоял всею душою за Софью Андреевну и старался разубедить ее, но напрасно. Чутко материнское сердце... А что ж Алеша?... Он любил обеих, горевал, и душа его разрывалась на части. Никогда не забуду, как я сидел с ним на траве, в березняке, им насаженном: он говорил, страдая, и со слезами, о своем несчастье. Сколько в глазах его и словах выражалось любви к Софье Андреевне, которую он называл милой, талантливой, доброй, образованной, несчастной и с прекрасной душой. Его глубоко огорчало, что мать грустит, ревнует и предубеждена против Софьи Андреевны, несправедливо обвиняя ее в лживости и расчете. Такое обвинение, конечно, должно было перевернуть все существо доброго, честного и рыцарски благородного А. Толстого».

В 1854 году в журнале «Современник» впервые появились стихи писателя Козьмы Пруткова, скоро ставшего весьма популярным во всей России. Нелепую эту, но крайне привлекательную фигуру Толстой создал совместно с братьями Жемчужниковыми – Алексеем, Владимиром и Александром. О Жемчужниковых и Толстом ходили по столице самые фанта-

стические слухи. То говорили, что это они под видом флигель-адъютантов объезжали ночью всех петербургских архитекторов со страшным сообщением, что Исаакиевский собор провалился; то в день коронации императора Александра II тайком выпрягли лошадей из кареты испанского посланника; то случайного прохожего, спросившего у них какой-то адрес, направили прямо на Пантелеймоновскую, 9, где находилось Жандармское отделение. Создавая фигуру писателя Кузьмы Пруткова, Толстой и Жемчужниковы не только сочинили все его стихи, басни и афоризмы, но и придумали оригинальную биографию, приложив к ней столь же оригинальный портрет. Козьма Прутков, сообщали друзья, родился 11 апреля 1792 года, в 1820 году был принят в один из лучших гусарских полков, но прослужил в нем лишь два с половиной года – «только для мундира»; в 1823 году – вышел в отставку и поступил на гражданскую службу по министерству финансов – в Пробирную палатку, где прослужил сорок лет, до самой смерти, последовавшей 13 января 1863 года.

В январе 1851 года Алексей Жемчужников записал в дневнике: «Государь Николай Павлович был на первом представлении „Фантазии“ (эта пьеса тоже входила в собрание сочинений Козьмы Пруткова). Эта пьеса шла в бенефис Максимова. Ни Толстой, ни я в театре не были. В этот вечер был какой-то бал, на который мы оба были приглашены и на котором быть следовало. В театре были: мать Толстого и мой отец с моими братьями. Воротясь с бала и любопытствуя знать: как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесе публика зашикала и что государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссеру Куликову, что, узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу снять ее с афиши и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя и обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с графом Толстым совещания. Это письмо я отдал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ Куликова был уже получен. Он был короток. „Пьеса ваша и гр. Толстого уже запрещена по высочайшему повелению“.

«В произведении литературы я презираю всякую тенденцию, – писал Толстой Б. М. Маркевичу в декабре 1868 года. – Презираю ее, как пустую гильзу, тысяча чертей! Как раззвяу у подножья фок-мачты, три тысячи проклятий! Я это говорил и повторял, возглашал и провозглашал!» И опять уже в письме к М. М. Стасюлевичу: «По мне, сохрани Бог от всякой задачи в искусстве, кроме задачи сделать хорошо. И от направления в литературе, сохрани Бог, как старого, так и от нового! Россини сказал: „В музыке есть только два рода, хороший и плохой“. То же можно сказать и о литературе». Странно, но при всем при этом стихи самого Толстого буквально насыщены были злобой дня. И это относится не только к сочинениям Козьмы Пруткова, но и к «Посланию М. Н. Лонгинову о дарвинизме», и к «Иоанну Дамаскину», и к «Сну Попова», и к «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашова», перемежающейся знаменитым рефреном: *«Земля наша богата, порядка в ней лишь нет»*...

В самом начале Крымской кампании Толстой и его друг князь А. П. Бобринский решили организовать специальный военный отряд, который помешал бы возможной высадке англичан на балтийском побережье. На свои средства закупили в Туле 80 дальноточных винтовок, но, к счастью, они негодились. Точно так же не успела пригодиться друзьям быстроходная яхта, которую решено было приобрести для совершения каперских вылазок в море. Поняв, что война, как началась, так и закончится в Крыму, Толстой вступил майором в стрелковый полк, но и тут ему не повезло: под Одессой он тяжело заболел тифом. К счастью, крепкое от природы здоровье не подвело – поэт выжил. Сразу после войны он был произведен в подполковники и одновременно назначен делопроизводителем Секретного комитета о раскольниках. Однако все это совсем не привлекало Толстого. «Государь, – обратился он к императору, – служба, какова бы она ни была, глубоко противна моей натуре;

знаю, что каждый должен в меру своих сил приносить пользу отечеству, но есть разные способы приносить пользу. Путь, указанный мне для этого провидением, – мое *литературное дарование*, и всякий иной путь для меня невозможен. Из меня всегда будет плохой военный и плохой чиновник, но, как мне кажется, я, не впадая в самомнение, могу сказать, что я хороший писатель».

В 1861 году Толстой вышел в отставку.

Жил он попеременно то в своем имении под Петербургом – Пустыньке, то в имении матери – на Черниговщине. Печатался и в либеральном журнале «Вестник Европы», и в противоположном ему по направлению проправительственном «Русском вестнике». В 1867 году вышел в свет единственный прижизненный сборник стихотворений Толстого. *«Двух станю не боец, но только гость случайный, – писал он, – за правду я бы рад поднять мой добрый меч, но спор с обоими досель мне жребий тайный, и к клятве ни один не мог меня привлечь; союза полного не будет между нами – не купленный никем, под чье б ни стал я знамя, пристрастной ревности друзей не в силах снести, я знамени врага отстаивал бы честь».*

Большой известностью пользовался при жизни поэта его роман «Князь Серебряный». Драматическую трилогию составили драматические пьесы: «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», и «Царь Борис». А в январе 1884 года вышло в свет первое полное Собрание сочинений Пруткова в одной книге. По свидетельству современников, издание это исчезло из книжных лавок буквально за считанные дни.

В последние годы Толстой страдал сильным расстройством нервов. Еще недавно на охоте он выходил против медведя с ножом в руках, а теперь его мучили астма и ужасные головные боли. Не желая длить столь жалкое состояние, он принял пузырек морфия. Случилось это 28 (10. X) сентября 1875 года в любимом поэтом имении его матери Красном Роге.

Афанасий Афанасьевич Фет

*Как мошки зарею,
Крылатые звуки толются;
С любимой мечтою
Не хочется сердцу расстаться.
Но цвет вдохновенья
Печален средь будничных терний;
Былое стремленье
Далеко, как выстрел вечерний.
Но память былого
Все крадется в сердце тревожно...
О, если б без слова
Сказаться душой было можно!*

Родился в октябре или в ноябре 1820 года в селе Новоселки, Мценского уезда Орловской губернии.

Отец – помещик Афанасий Неофитович Шеншин, мать – Шарлотта-Елизавета Фет. Шарлотту Шеншин привез из Германии, где проходил лечение. Через два года он обвенчался с нею и все их дети получили фамилию Шеншина, однако, когда первенец – Афанасий – достиг четырнадцати лет, Орловская духовная консистория установила, что мальчик рожден до заключения брака матери с Шеншиным, а значит впредь обязан именоваться не потомственным дворянином Афанасием Шеншиным, а всего лишь гессен-дармштадским подданным Афанасием Фетом. Буквально в один день из потомственного русского дворянина Фет превратился в разночинца, потерял все полагающиеся дворянину привилегии и, ко всему прочему, под всеми официальными документами обязан был отныне подписываться: «К сему иностранец Афанасий Фет руку приложил».

Стремление вернуть потерянное дворянство стало главным в жизни Фета.

Окончив немецкую школу в городе Верро (Эстония), в начале 1838 года он поступил в московский пансион профессора истории М. П. Погодина, и в том же году – в Московский университет на словесное отделение, которое окончил в 1844 году. В университете Фет подружился с поэтом Аполлоном Григорьевым. «Вместо того, чтобы ревностно ходить на лекции, – писал он позже, – я почти ежедневно писал новые стихи». Там же, в Москве, Фет исправно посещал поэтические салоны Каролины Павловой и Федора Глинки, близко познакомился с Полонским, Герценом, Аксаковыми. В 1840 году под инициалами *А. Ф.* вышел в свет первый сборник его стихов – «Лирический пантеон», встреченный критиками откровенно издевательски. Но уже стихи, напечатанные Фетом в 1842 году в журналах «Москвитянин» и «Отечественные записки», привлекли серьезное внимание критиков. Белинский даже заметил в обзоре «Русская литература в 1843 году», что «из живущих в Москве поэтов всех даровитее г-н Фет». Самого Фета, впрочем, все эти успехи мало радовали, он тосковал об утерянном дворянстве. «С способностью творения в нем росло равнодушие, – вспоминал Григорьев. – Равнодушие ко всему, кроме способности творить – к божьему миру, как скоро предметы оно переставали отражаться в его творческой способности, к самому себе, как скоро он переставал быть художником. Так сознал и так принял этот человек свое назначение в жизни... Страдания улеглись, затихли в нем, хотя, разумеется, не вдруг. Этот человек должен был или убить себя, или создаться таким, каким он сделался... Я не видал человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства... Я боялся за

него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять это страшное хаотическое брожение стихий его души...»

Окончив университет, Фет решил поступить на военную службу. Офицерский чин по законам того времени приносил разночинцу звание потомственного дворянина, в то время как на гражданской службе к такому результату приводил только чин коллежского асессора. Не имея нужных связей, в 1845 году Фет смог поступить лишь унтер-офицером в захудалый кавалерийский полк – Орденский Кирасирский, и с этого времени почти десять лет странствовал по мелким городкам и селам Херсонской губернии, где полк был расквартирован. К ужасному его разочарованию, за несколько месяцев до получения первого офицерского чина, вышел указ, по которому потомственное дворянство стал давать только чин майора (в кавалерии – ротмистра). На разочарование наложился еще трагический роман с дочерью небогатого херсонского помещика – Марией Лазич. Из-за невозможности содержать семью, может быть, несколько преувеличиваемую Фетом, он не мог жениться на Лазич. «Не могу выбросить из рук последнюю доску надежды и отдать жизнь без борьбы, – писал он другу своему И. Н. Борисову. – Я не женюсь на Лазич, и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Этот гордиев узел любви, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, я разрубить мечом не имею духу и сил... – И неожиданное признание: – Знаешь, втянулся в службу, а другое все только томит как кошмар...»

Судьба сама, и по-своему, разрешила ситуацию: Мария Лазич погибла от неосторожно брошенной спички.

В 1853 году Фет сумел, наконец, перевестись в гвардейский лейб-уланский полк, расквартированный в районе Волхова. Теперь он стал бывать в столице, подружился с Тургеневым, вошел в круг сотрудников журнала «Современник», редактируемого Некрасовым. «Фет уже был известен своими стихотворениями в литературе с сороковых годов, – не очень доброжелательно писала о нем Панаева, – но я познакомилась с ним только в начале пятидесятых. Он приехал в Петербург на продолжительное время в отпуск из полка, и я виделась с ним каждый день. Фет находился в вдохновенном настроении и почти каждое утро являлся с новым стихотворением, которое читал Некрасову, мне и всем литераторам, кто просил его прочесть. Тургенев находил, что Фет так же плодovit, как клопы, и что, должно быть, по голове его проскакал целый эскадрон, от чего и происходит такая бессмыслица в некоторых его стихотворениях, Но Фет вполне был уверен, что Тургенев приходит в восторг от его стихов, и с гордостью рассказывал, как после чтения Тургенев обнимал его и говорил, что это лучшее из написанного им...»

В 1856 году вышло собрание стихотворений Фета, вполне благожелательно встреченное критикой. К этому времени военная служба окончательно потеряла для поэта смысл: вышел новый указ, по которому потомственное дворянство могли получить лишь офицеры, дослужившиеся до чина полковника, Фет же за много лет дослужился только до поручика. Взяв отпуск, поэт уехал за границу, а вернувшись – вышел в отставку и поселился в Москве. Там же, в 1857 году, он женился на Марии Боткиной, дочери крупного торговца чаем. Невеста не была красивой, прошлое ее было затуманено каким-то неудачным романом, но Фет и не искал красоты и духовности. «Идеальный мир мой разрушен давно, – писал он Борисову. – Ищу хозяйку, с которой буду жить, не понимая друг друга. Если никто никогда не услышит жалоб моих на такое непонимание друг друга, то я буду убежден, что я исполнил мою обязанность, и только...»

Некоторое время Фет пытался жить на литературные доходы, но вскоре убедился, что это невозможно. Мешало то, что единственной задачей искусства он всегда считал умение передать во всей полноте и чистоте некий образ, в минуту некоего восторга возникающий перед художником. «Другой цели у искусства быть не может, – категорически утверждал он. – Произведение, имеющее какую бы то ни было дидактическую тенденцию, – это дрянь».

Только беглые настроения стоят внимания, считал он. «В деле свободных искусств я мало ценю разум в сравнении с бессознательным инстинктом (вдохновением), пружины которого от нас скрыты». Современники не мало упрекали поэта в сложности, даже в непонятности, имея в виду его эпитеты: *звонкий сад*, *тающая скрипка*, *румяная скромность*, *мертвые грезы*, *благовонные речи*, часто прямо называя все это чепухой. Поэт, впрочем, отвечал столь же прямо: «В нашем деле истинная чепуха и есть истинная правда». И писал Полонскому: «Никто более меня не ценит милейшего, образованнейшего и широкописного Ал. Толстого, – но ведь он тем не менее какой-то прямолинейный поэт. В нем нет того безумства и чепухи, без которой я поэзии не признаю. Пусть он хоть в целом дворце обтянет все кресла и табуреты венецианским бархатом с золотой бахромой, я все-таки назову его первоклассным обойщиком, а не поэтом. Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».

Поняв, что литературой прокормиться невозможно, Фет в 1860 году купил двести десятин (более 220 гектаров) земли в родном Мценском уезде Орловской губернии и переселился в деревню Степановку. В. П. Боткин успокаивал расстроенную сестру: «...это деятельность, которая займет Фета и даст ему ту душевную оседлость, которую ты, Маша, не довольно ценишь в муже, ибо литература теперь для него не представляет того, что представляла прежде, при ее созерцательном направлении». А Тургенев в письме к Полонскому с некоторым удивлением подтверждал: «Он (Фет) теперь сделался агрономом-хозяином до отчаянности. Отпустил бороду до чресел – с какими-то волосяными вихрами за и под ушами, – о литературе слышать не хочет и журналы ругает с энтузиазмом». И страшно обижался на Фета, который как-то написал ему: «Покупайте у меня рожь по 6 руб., дайте мне право тащить в суд нигилистку и свинью за проход по моей земле, не берите с меня налогов – а там хоть всю Европу на кулаки!»

Став помещиком, Фет практически ушел из литературы. Теперь он выступал в печати только с яростными призывами защитить помещичью собственность от крестьян и наемных рабочих, да укоротить призывы к прогрессу. Чехов не случайно записал в дневнике: «Мой сосед В. Н. Семенович рассказал мне, что его дядя Фет-Шеншин, известный лирик, проезжая по Моховой, опускал в карете окно и плевал на университет. Харкнет и плюнет: тьфу! Кучер так привык к этому, что всякий раз, проезжая мимо университета, останавливался». Имя Фета вызывало колоссальное раздражение в журналах, близких к демократическим кругам. Известный своей нетерпимостью критик Писарев в «Цветах невинного юмора» писал об итоговом собрании стихотворений Фета, вышедшем в 1863 году: «Со временем продадут его пудами для оклеивания комнат под обои и для завертывания сальных свечей, мещерского сыра и копченой рыбы. Г. Фет унижится таким образом до того, что он в первый раз станет приносить своими произведениями некоторую долю практической пользы»... А критик «Русского слова» соглашался с Писаревым: «Такое занятие, как выдумывать такие стихи, ничем не отличается от перебирания пальцами, которому с наслаждением предаются многие купчихи... – И дальше: – Он (Фет) в стихах придерживается гусяного мирозерцания...»

В течение двадцати лет Фет занимался только хозяйством: ставил мельницы, создал крупный конный завод, почти десять лет прослужил мировым судьей. Выпадающий досуг заполнял занятиями философией. Особенно близким был ему Шопенгауэр. «Шопенгауэр, – писал поэт, – для меня не только последняя крупная философская ступень, это для меня откровение, возможный человеческий ответ на те умственные вопросы, которые сами собой возникают в душе каждого». Он вполне разделял известное мнение Шопенгауэра о том, что история ничего в человеке и в обществе не меняет, что всякий прогресс – мираж, что любые попытки сознательного изменения строя человеческой жизни бессмысленны и безнадежны. В жизни царствовало и всегда будет царствовать страдание, считал Фет, поэтому основным свойством искусства должна быть полная его независимость от всяких «головных» понятий.

В письме, адресованном К. Р. (великому князю Константину), он писал: «Цельный и всюду себе верный Шопенгауэр говорит, что искусство и прекрасное выводит нас из томительного мира бесконечных желаний в безвольный мир чистого созерцания: смотрят на Сикстинскую мадонну, слушают Бетховена и читают Шекспира не для получения следующего места или какой-либо выгоды...»

Литературное общение Фета сводилось теперь к простому общению с немногими друзьями. «Вы оба моя критика и публика, и не ведаю другой», – писал он Льву Толстому и его жене. И Толстой отвечал ему тем же чувством: «Вы человек, которого, не говоря о другом, по уму я ценю выше всех моих знакомых и который в личном общении дает один мне тот другой хлеб, которым, кроме *единого*, будет сыт человек». И в другом письме о стихотворении «Майская ночь»: «Развернув письмо, я – первое – прочел стихотворение, и у меня защипало в носу: я пришел к жене и хотел прочесть, но не мог от слез умиления. Стихотворение – одно из тех редких, в которых ни слова прибавить, убавить или изменить нельзя; оно живое само и прелестно. Я не знаю у вас лучшего». В письме к Боткину тот же Лев Толстой искренне удивлялся: «И откуда у такого добродушного толстого офицера берется такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»

В 1873 году произошло событие, которого Фет ждал всю жизнь: царь, наконец, удовлетворил его прошение. Разночинец Фет стал потомственным дворянином, «трехсотлетним Шеншиным». Узнав об этом, Шеншин в тот же день отправил жене письмо с требованием незамедлительно заменить все метки, какие имелись в усадьбе – на столовом серебре, на белье, на почтовой бумаге. «Теперь, – писал он, – когда все, слава Богу, кончено, ты представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет. Умоляю тебя никогда его ко мне не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить: как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им – Фет. Со стороны легко смотреть на чужую изуродованную жизнь, но к своей собственной так легко относиться трудно...»

«Став помещиком, – писал известный литературовед Б. Бухштаб, – выхлопотав причисление „по высшему повелению“ к роду Шеншиных и тем самым получив потомственное дворянство, Фет, казалось бы, добился того, чего желал смолodu. Но глубоко раненное самолюбие не удовлетворялось и требовало новых достижений на том же пути. Притом некоторые знакомые вовсе не скрывали от Фета недоуменного или прямо иронического отношения к его превращению в Шеншина. Так, Тургенев написал ему по этому поводу: „Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию“... На все это Фет реагирует погоней за дальнейшими почестями. Он буквально выпрашивает себе придворное звание камергера к пятидесятилетнему юбилею своей литературной деятельности. Большой старик, еле двигающийся от удушья, мучит себя дворцовыми приемами, сидит из-за них в Москве в летнюю жару, тешится своим званием, являясь в камергерском мундире всюду, куда следует и куда явно не следует...»

И все же это именно Фет сказал: «Я никогда не мог понять, чтобы искусство интересовалось чем-либо помимо красоты».

П. И. Чайковский, писал: «Считаю его (Фета) поэтом безусловно гениальным, хотя есть в этой гениальности какая-то неполнота, неравновесие, причиняющее то странное явление, что Фет писал иногда совершенно слабые, непостижимо плохие вещи... И рядом такие пьесы, от которых волосы дыбом становятся... Фет есть явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнить его с другими первоклассными или иностранными поэтами. Скорее можно сказать, что Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в *нашу* область (то есть в сторону музыки). Поэтому часто Фет напоминает мне Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте или Байрона, или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам, хотя бы и сильным, но ограниченными пределами *слова*. Это не просто

поэт, скорее поэт-музыкант, как бы избегающий даже таких тем, которые легко поддаются выражению словом. От этого также его часто не понимают и есть даже и такие господа, которые смеются над ним, утверждая, что стихотворение вроде «Уноси мое сердце в звенящую даль» и т. д. есть бессмыслица. Для человека ограниченного и в особенности немusыкального, пожалуй, это и бессмыслица, – но ведь недаром же Фет, несмотря на свою для меня несомненную гениальность, вовсе не популярен».

Умер 21 (3. XII) ноября 1892 года в Москве.

Яков Петрович Полонский

*Мой костер в тумане светит;
Искры гаснут на лету.
Ночью нас никто не встретит;
Мы простимся на мосту.
Ночь пройдет – и спозаранок
В степь, далеко, милый мой,
Я уйду с толпой цыганок
За кибиткой кочевой...*

Родился 6 (18) декабря 1819 года в Рязани.

Окончив гимназию, поступил на юридический факультет Московского университета. Жил бедно, поддерживала его только бабушка – Е. Б. Воронцова. Если появлялись какие-то деньги, тратил их в кондитерской, просматривая за чашкой кофе свежие газеты и журналы, подаваемые хозяином. Из-за постоянной необходимости зарабатывать на жизнь, университет закончил только в 1844 году. Тогда же выпустил сборник стихов «Гаммы», замеченный «Отечественными записками». «Полонский обладает в некоторой степени тем, что можно назвать чистым элементом поэзии и без чего никакие умные и глубокие мысли, никакая ученость не сделает человека поэтом», – писал критик. Однако, этот некоторый успех никак не повлиял на материальное положение поэта; в ноябре того же года он уехал в Одессу.

С 1846 года Полонский жил в Тифлисе. Служил в канцелярии кавказского наместника М. С. Воронцова и редактировал газету «Закавказский вестник». Там же, в Тифлисе, вышел в 1849 году сборник стихов «Сазандар».

В 1853 году переехал в Петербург.

Жить в столице было нелегко. Полонский давал частные уроки, некоторое время служил гувернером в семье миллионера С. С. Полякова. Женился. Однажды, торопясь по делам, связанным с рождением первенца, упал с джогек и получил серьезную травму. Несколько операций, перенесенных им, не принесли выздоровления, до конца жизни Полонский пользовался костылями. Еще большим потрясением для поэта стала смерть его жены – дочери псаломщика русской церкви в Париже Елены Устюжской. При сложной материальной жизни, жена была неоценимой помощницей поэту – сама кормила и нянчила ребенка. Впрочем, это ей было знакомо, поскольку выросла она в большой небогатой семье и, будучи старшей, вынянчила поочередно всех своих братьев и сестер. Потеряв жену, Полонский впал в отчаяние. Он пытался связаться с женой при помощи спиритических сеансов, но утешение поэту приносили только стихи. «По твоим стихам, – как-то написал он Фету, – невозможно написать твоей биографии, и даже намекать на события из твоей жизни... Увы!.. По моим стихам можно проследить всю жизнь мою...»

Стихи Полонского охотно печатались в «Современнике», в «Отечественных записках», в «Русском слове», то есть в журналах самых противоположных направлений, часто идеологически враждебных друг другу. Это лавирование между различными лагерями мешало поэту. Но сам он так объяснял это лавирование (в письме к Чехову): «Наши большие литературные органы любят, чтобы мы, писатели, сами просили их принять нас под свое покровительство – и тогда только благоволят, когда считают нас *своими*, а я всю свою жизнь был ничей, для того, чтобы принадлежать всем, кому я понадоблюсь, а не кому-нибудь...»

В конце пятидесятых Полонский редактировал журнал «Русское слово», затем служил цензором в Комитете иностранной цензуры, входил в совет Главного управления по делам

печати. Но главное место в его жизни занимала поэзия. «Что такое – отделять лирическое стихотворение или, поправляя стих за стихом, доводить форму до возможного для нее изящества? – писал он. – Это, поверьте, не что иное, как отделять и доводить до возможного в человеческой природе изящества свое собственное, то или другое, чувство».

«Улеглася метелица. Путь озарен. Ночь глядит миллионами тусклых очей. Погружай меня в сон, колокольчика звон! Выноси меня, тройка усталых коней!.. У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле, за цветной занавеской, кровать!.. Что за жизнь! Полинял пестрый полога цвет, я больная бреду и не еду к родным, побранить меня некому – милого нет, лишь старуха ворчит, как приходит сосед, оттого, что мне весело с ним!..».

«Как это хорошо! – писал Достоевский. – Какие это мучительные стихи, и какая фантастическая раздающаяся картина. Канва одна и только намечен узор, вышивай, что хочешь... Этот самовар, этот ситцевый занавес, – так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городишке».

В последние годы, будучи уже признанным, Полонский еженедельно устраивал «пятницы», на которых встречались литераторы, артисты, ученые.

«Большая зала с окнами на две улицы, – вспоминала Зинаида Гиппиус. – Во всю длину залы – накрытый чайный стол (часто, бывало, думаю: и откуда такая длинная скатерть?) За столом – гости. Сухонькая, улыбающаяся хозяйка (вторая жена Полонского, Жозефина А.). У окон где-то рояль, а в самом углу, над растениями, громадная белая статуя. Амура, кажется. Ее отовсюду видно, в зале только она да этот чайный стол. Гостей всегда много, но не тесно, ибо гости меняются: когда приходят новые, – встают и уходят те, кто чай кончил. Уходят через маленькую гостиную в кабинет хозяина, который в зале никогда не присутствует. Он сидит в этой довольно узкой комнате, неизменно на своем месте, в кресле за письменным столом. Вижу этот стол и за ним, лицом к двери, большого угловатого старика – Якова Петровича. Кресло не очень низкое. Полонский сидит бодро, сутулясь чуть-чуть. Рядом – его костыли. У него нет белоснежной бороды Плещеева. Борода не короткая, но и не длинная, и весь он скорее серый, чем белый; весь в проседи. Глаза ужасно живые и прегромкий голос. То кричит весело, то трубит сердито или торжественно. Иногда стучит костылем. От входящих в кабинет гостей его отделяет письменный стол, и гости сидят прямо перед Полонским, на стульях или на диване у стены. Он и говорит со всеми вместе, точно всегда немного с эстрады. Впрочем, бывает, что кто-нибудь садится на стул сбоку, поговорить поближе...

Полонский охотно говорит о себе, о своих стихах. Рассказывает, какие именно слова он создал, первый ввел в литературу. Если Достоевский бросил слово «стушеваться», то он, Полонский, создал «непроглядную» ночь. Меня, по правде сказать, эти «новые» слова не пленяли, уже казались банальностями. Удивило только открытие, что слово «предмет» не существовало до Карамзина: он оказался его творцом. Полонский, когда его просили, с удовольствием читал стихи, и это бывало нередко. Читал он любопытно, совсем по-своему. Так же, вероятно, как читал и не на этой домашней «эстраде», за письменным столом, а на настоящей, где мне слышать его не пришлось. Читал густо, тромбонно, с непередаваемой, устрашающей завойкой. Его чтение у меня в ушах, я могу его приблизительно «передразнить», но описать не могу. Плещеев и Вейнберг читали с тем условным пафосом, которого требовал тогдашний студент. Чтение Полонского было другое. Сначала делалось смешно, а потом нравилось. *«Есть фо-орма, – но она пуста! Краси-иво – но не красота!»* Эти строчки, сами по себе недурные, значительные, во всяком случае, производили большое впечатление в густом рыканье Полонского. Так же декламировал он и свое единственное, считавшееся «либеральным» стихотворение: *«Что мне она? Не жена, не любовница и не родная мне дочь. Так почему ж ее доля проклятая спать не дает мне всю ночь?»*. Не знаю, как случилось, что другое его, воистину прекрасное стихотворение не пользовалось популярностью; и сам

Полонский не читал его (при мне) и с эстрады его, кажется, редко читали другие. Легко представляю себе как громовержно продекламировал бы Яков Петрович: *«Писатель, если только он волна, а океан – Россия, не может быть не возмущен, когда возмущена стихия. Писатель, если только он есть нерв великого народа, не может быть не поражен, когда поражена свобода»*. Но «студент» требовал, чтобы его звали «Вперед, без страха и сомнения», доверял только белым бородам, а какие стихи, хорошие или плохие, – ему было в высшей степени наплевать.

Кого только не приходилось видеть на пятницах Полонского! Писатели, артисты, музыканты... Тут и гипнотизер Фельдман, и нововременский предсказатель погоды Кайгородов, и рассказчик Горбунов, и семья Достоевского, и Антон Рубинштейн... На ежегодном же вечере-монстре в конце декабря в день рождения Полонского бывало столько любопытного народа, что, казалось, «весь Петербург» выворотил свои заветные недра. Хозяин сидел там же, на том же месте, за письменным столом, и торжественно принимал поздравления. Впрочем, однажды в этот день он продвинулся на своих костылях в залу; ненадолго, лишь пока Антон Рубинштейн, оторванный от игры в карты и набросившийся на клавиши, с таким озлоблением и с такой силой терзал рояль, точно это был его личный враг...

Все комнаты отворены и все полны народу. Никаких танцев (и карточный стол всего один, специально для Рубинштейна: по пятницам же карты никому не разрешались). Гости все солидные, с сановными лицами и даже со звездами... Жена гр. Алексея Толстого, изящно-некрасивая, под черным покрывалом, как вдовствующая императрица, улыбается тем, кого ей представляют... Мне подумалось: а ведь это ей написано: *«Средь шумного бала случайно, в тревоге мирской суеты, тебя я увидел, но тайна твои покрывала черты...»* Все ли знают, что бал этот – маскарад, «тайна» – просто маска и покрывала она редко-некрасивые черты лица...»

«Творчество требует здоровья, – говорил Полонский одному из друзей. – Врет Ломброзо, что все гении были полупомешанные или больные люди. Сильные нервы – это то же, что натянутые стальные струны у рояля: не рвутся и звучат от всякого – сильного ли, слабого ли – к ним прикосновения». И писал, вспоминая своего друга Фета: *«...Все тот же огонек, что мы зажгли когда-то, не гаснет для него и в сумерках заката, он видит призраки ночные, что ведут свой шепотливый спор в лесу у перевала, там мириады звезд плывут без покрывала, и те же соловьи рыдают и поют»*.

Умер 18 (30) октября 1898 года.

Похоронен в Рязани.

Константин Дмитриевич Бальмонт

*Я устал от нежных снов,
От восторгов этих цельных
Гармонических пиров
И напевов колыбельных.
Я хочу порвать лазурь
Успокоенных мечтаний.
Я хочу горящих зданий,
Я хочу кричащих бурь!*

*Упоение покоя —
Усыпление ума.
Пусть же вспыхнет море зноя,
Пусть же в сердце дрогнет тьма.
Я хочу иных бряцаний
Для моих иных миров.
Я хочу кинжальных слов
И предсмертных восклицаний!*

Родился 4 (15) июня 1867 года в имении Гумнищи вблизи города Шуи.

«Я вырос в саду, – вспоминал поэт, – среди цветов, деревьев и бабочек. В наших местах есть леса и болота, есть красивые реки и озера, растут по бочагам камыши и болотные лилии, сладостная дышит медуница, ночные фиалки колдуют, дрема, васильки, незабудки, лютики, смешная заячья капуста, трогательный подорожник – и сколько – сколько еще!».

Гимназию не закончил: был исключен за принадлежность к тайному гимназическому кружку, распространявшему прокламации «Народной воли». Пришлось из Шуи отправиться во Владимир – доучиваться. Осенью 1886 года поступил на юридический факультет Московского университета, но и оттуда его исключили за участие в революционно настроенных студенческих кружках. Более того, даже выслали из Москвы – «по месту проживания». Впечатлительный, остро реагирующий даже на самые незначительные события, в Шую Бальмонт вернулся потрясенный. В 1890 году он еще раз попробовал продолжить образование, но ни в университете, ни в Демидовском лицее в Ярославле надолго не задержался, и весь тот огромный умственный багаж, все те знания, которыми он владел, получил самостоятельно.

В 1890 году в Ярославле вышел первый «Сборник стихотворений». И тогда же Бальмонт женился на Ларисе Гарелиной, такой же, как он, весьма неуравновешенной красавице, дочери богатого шуйского фабриканта. Как это ни странно звучит, но многие современники утверждали, что к вину Бальмонта приучила именно первая жена. Она же вконец рассорила поэта с родителями. 13 марта 1890 года, нервный, склонный к запоям и к истеричным решениям, Бальмонт выбросился с третьего этажа московской гостиницы, где они жили с женой, на бульжную мостовую. «Когда весь избитый и изломанный я лежал, очнувшись, на холодной весенней земле, – вспоминал позже Бальмонт, – я увидел небо безгранично высоким и недоступным. Я понял в те минуты, что моя ошибка – двойная, что жизнь бесконечна...» И дальше: «В долгий год, когда я, лежа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чириканья воробьев за окном и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших до моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда наконец я встал, душа моя стала

вольной, как ветер в поле, никто уже более не был над нею властен, кроме творческой мечты, а творчество расцвело буйным цветом...»

По просьбе известного историка западной литературы Н. И. Стороженко издатель Солдатенков предложить Бальмонту перевод серии книг по истории скандинавской и итальянской литературы. Это помогло Бальмонту встать на ноги и укрепить свою литературную репутацию. Обладая невероятным трудолюбием, он прочел горы книг, не меньше написал и перевел. Ему всегда легко давались иностранные языки, он этим умело пользовался. Поэту, утверждал он, надо «уметь в весенний свой день сидеть над философской книгой, и английским словарем, и испанской грамматикой, когда так хочется кататься на лодке и, может быть, с кем-то целоваться, уметь прочесть и 100, и 300, и 1000 книг, среди которых много-много скучных, полюбить не только радость, но и боль, молча лелеять в себе не только счастье, но и вонзающуюся в сердце тоску...»

«В работе Константина Дмитриевича, – вспоминал издатель Сабашников, – меня поразило то, что он почти не делал помарок в своих рукописях. Стихи в десятки строк, по-видимому, складывались в его голове совершенно законченными и разом заносились в рукопись. Если нужно было какое-либо исправление, он заново переписывал текст в новой редакции, не делая никаких помарок или приписок при первоначальном тексте. Почерк у него был выдержанный, четкий, красивый. При необычайной нервности Константина Дмитриевича почерк его не отражал, однако, никаких перемен в его настроениях. Мне, у которого почерк менялся до неузнаваемости в зависимости от настроения, это казалось и неожиданным, и удивительным. Да и в привычках своих он казался педантично аккуратным, не допускающим никакого неряшества. Книжки, письменный стол и все принадлежности поэта находились всегда в порядке гораздо большем, чем у нас, так называемых деловых людей. Эта аккуратность в работе делала Бальмонта очень приятным сотрудником издательства. Рукописи, им представляемые, всегда были окончательно отделаны и уже не подвергались изменениям в наборе. Корректуры читались четко и возвращались быстро...»

В 1896 году по подложному свидетельству (первая жена не дала развода) Бальмонт вступил в брак с переводчицей Е. А. Андреевой. Отношения поэта с женщинами всегда были восторженными, и в то же время трагичными. Самоубийство поэтессы Мирры Лохвицкой, влюбленной в него, потрясло Бальмонта. *«О, какая тоска, что в предсмертной тиши я не слышал дыханья певучей души, что я не был с тобой. что я не был с тобой, что одна ты ушла в океан голубой...»* Но при всем этом Бальмонт не был создан для верности; до конца прошла с ним путь только Е. К. Цветковская. «Он жил мгновеньем и довольствовался им, не смущаясь пестрой сменой миггов, – писала Андреева, – лишь бы только полнее и красивее выразить их. Он то воспевал Зло, то Добро, то склонялся к язычеству, то преклонялся перед христианством...»

В 1894 году вышел сборник стихов Бальмонта «Под северным небом», в 1895 – «В безбрежности», в 1900 – «Горящие здания», и, наконец, в 1903 – «Будем как Солнце», книга, принесшая ему поистине всероссийскую славу. *«Я – изысканность русской медлительной речи, – писал он, – предо мною другие поэты – предтечи, я впервые открыл в этой речи уклоны, перепевные, гневные, нежные звоны. Я – внезапный излом, я – играющий гром, я – прозрачный ручей, я – для всех и ничей...»* И действительно не было в те годы поэтического имени более известного. На фоне бесцветной, как бы вылинявшей поэзии конца девятнадцатого века, яркие стихи Бальмонта вспыхнули как Солнце. Войдя в число основоположников символизма, нового, тогда только еще нарождающегося литературного течения, поэт появился очень вовремя. Не случайно сам Бальмонт гордо заявлял: «Имею спокойную убежденность, что до меня, в целом, не умели в России писать звучных стихов».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.